



АДОЛЬФ МУШТ
ПОЕЗДКА
В ШВЕЙЦАРИЮ



АДОЛЬФ МУШТ

**ПОЕЗДКА
В ШВЕЙЦАРИЮ**

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО



Москва. «Прогресс». 1978

Составление В. Седельника
Предисловие М. Рудницкого
Редактор Е. Приказчикова

© Составление, предисловие и перевод на русский язык «Прогресс», 1978

М $\frac{70304-678}{006(01) - 78}$ 137--78

Широкая известность пришла к Адольфу Мушгу как-то незаметно. Писатель того поколения, которое сейчас уже называют «средним» (он родился в 1934 году), Мушг молодые годы посвятил филологии (работал преподавателем литературы) и только после тридцати решился на дебют в качестве прозаика. К середине 70-х годов, после выхода в свет романа «Причина Альбиссера» (1974) и присуждения Мушгу весьма авторитетной литературной премии Германа Гессе, стало ясно, что он один из наиболее значительных швейцарских писателей.

Читая сегодня рассказы Мушга, трудно поверить, что чуть больше десяти лет тому назад именно он, тогда еще начинающий автор, сокрушенно жаловался на то, как трудно быть швейцарским писателем, то есть описывать жизнь и людей современной Швейцарии. «Я не верю, — утверждал он, — что можно стать швейцарским писателем только потому, что ты хочешь стать таковым».

Мушг не первый и не последний, видимо, швейцарский автор, упрекнувший отечественную литературу — и себя тоже — в недостатке жизненной достоверности. До него по этому же поводу сетовали и Макс Фриш, и Фридрих Дюрренматт, нещадно клеймившие при этом рутинную пустоту и провинциализм современной швейцарской жизни, в которой, как они считали, и описывать-то, собственно, нечего. Не однажды в швейцарской прессе жаростно дебатировался вопрос, а существует ли вообще в Швейцарии собственная национальная литература и в чем ее специфическое отличие от литератур других европейских стран, немецкоязычных к примеру? Нашему читателю, знакомому не только с драматургией и прозой Фриша и Дюрренматта, но и с романами Дитгельмана, Вальтера, Штайгера, с предстательной антологией современного швейцарского рассказа «Цюрих-транзитный», подобный вопрос может показаться надуманным и странным. Однако именно на него отвечал в 1966 году еженедельнику «Вельтwoche» молодой Адольф Мушг — и при всех оговорках отвечал отрицательно.

Швейцарская литература в послевоенные годы испытывает серьезные трудности в художественном освоении отечественной действительности. Вгляды извне Швейцария видится в парадном глянцеве рекламных туристических проспектов: страна

фешенебельных курортов, дивных альпийских красот, уютных, словно бы игрушечных, городков, примостившихся между суровыми горами и прозрачными голубыми озерами. Исторiku хорошо известно, что Швейцария в течение последних трех веков не вела никаких войн, что во внешнеполитических делах она давно и неукоснительно следует принципам нейтралитета, что государственное устройство ее вот уже больше столетия остается неизменным. Взгляду извне Швейцария представляется страной благополучного, веками устоявшегося быта, патриархальных традиций, чуть ли не идиллического покоя.

Иначе — изнутри — видят Швейцарию ее писатели. Стабильность швейцарского общества для них — явление застойное и болезненное, скрывающее за оболочкой показного благополучия подленькую неправду буржуазных отношений, непроницаемую тупость обывательской психологии, провинциализм и бездуховность мелкобуржуазного мещанского сознания. Художественное исследование жизни страны, в которой «ничего не происходит», в которой десятилетиями сменяются только времена года («Времена года» — знаменательное название известного романа швейцарского писателя Петера Бикселя), видимо, действительно занятие не из легких: социальная система, не подвергаемая испытанию историческими сдвигами, неизбываемая, словно лежащий камень в стремнине времени, сопротивляется критическому анализу, хитро скрывая свои пороки и противоречия, маскируя их, пряча внутри себя.

И все же, читая сегодня рассказы Адольфа Мушга, «Поездку в Швейцарию» например, как-то не верится, что это именно он жаловался на «неподатливость» материала, на трудности правдивого изображения швейцарской жизни. О Швейцарии в этом рассказе повествуют нюансы — детали быта, повадки и привычки жильцов обыкновенной цюрихской квартиры: застойный сладковатый запах, две повешенные вшитые свечки, красующиеся в ожидании гостей, истовая сосредоточенность, с какой хозяйни следят, чтобы иголка опускалась на грампластинку плавно, резная полочка, служащая постаментом для нескольких поставленных с декоративной целью книг по искусству, — повсюду педантичная упорядоченность и стерильная, почти больничная чистота. Рассказ держится на этих мелочах, на этих черточках быта и характеров, схваченных с безупречной точностью, без них не «заиграла» бы его основная коллизия, не «сработал» бы чуть комичный эффект контраста, вызванный вторжением в цитадель чопорного швейцарского мещанства молоденькой беззастенчивой немки, привычно берущей от жизни что возможно, самоуверенно беззаботной и хваткой на удовольствия.

Конечно, умение показать общее через частность, отобрать среди многих деталей всего лишь несколько, но зато наиболее значимых, «говорящих» — такое умение приходит к писателю вместе со зрелостью. В первых книгах Мушга — а это были романы «Летом в год зайца» (1965) и «Противочары» (1967) — швейцарская действительность тоже воссоздавалась через быт, через подробное описание, но мера подробности не всегда соответствовала степени точности, типичное соседствовало со

случайным. Нетрудно заметить, что с годами взгляд художника стал пронизательней, а мастерство выявления характерного уверенней и строже.

Отсюда, кстати, и ощущение лаконичной выверенности этой прозы, сообщающей читателю не больше и не меньше, чем нужно, скуповой и сосредоточенной, когда каждое слово производится как бы с трудом, после продолжительного размышления. Первые романы Мушга критики единодушно порицали за «словоблудие», за пристрастие к претенциозному и необязательному словотворчеству. Писатель действительно много экспериментировал со словом (иногда и «игрался» с ним), но сейчас ясно, что шел он от вычурной сложности к правдивой простоте, точность слова Мушг ценит не меньше, чем точность детали, иначе как бы удалось ему передать все мучительные извивы мысли, все болезненные провалы сознания его героев, порой попросту задавленных гнетом отупляюще жестоких социальных обстоятельств, доведенных до животного одичания идиотизмом повседневности, — и не где-нибудь, а именно в идиллической, «благополучной» Швейцарии. Для того чтобы дать этому обыденному сознанию «маленького человека» «выговориться», предоставить ему возможность поблуждать, как в лесу, в непривычно трудной для него логике причин и следствий, увязая в хитросплетениях банальных доводов и лихорадочных скачков убогой и затравленной мысли, — для выполнения такой задачи нужно высочайшее мастерство владения словесной фактурой, и Мушг этим мастерством обладает.

Сегодняшняя Швейцария, ее жизнь и ее люди показаны в рассказах Мушга с художественной силой, исключаящей сомнения в достоверности изображаемого. Однако было бы ошибочно и несправедливо видеть в творчестве Мушга лишь добросовестный сколок современной швейцарской действительности, а в нем самом — только усердного бытописца родной страны. По складу своего художественного темперамента Мушг прежде всего исследователь — очень серьезный, вдумчивый, склонный к чуть холодноватому, беспристрастному наблюдению. И его пристальный взгляд умеет сквозь безошибочно воссозданную специфику швейцарских обстоятельств распознать наиболее болезненные проблемы и противоречия, актуальные не только для Швейцарии, но и для всего западного буржуазного общества. Правда, швейцарский колорит сообщает творчеству Мушга один очень существенный оттенок: кризисные явления капиталистической действительности исследуются здесь и в их повседневном, обыденном обличье, жизнь берется в ее типично швейцарском варианте, в удручающем спокойствии, когда один день отличается от другого разве лишь погодой и в монотонной череде недель и месяцев тщетно ждать событий чрезвычайных.

Под стать атмосфере рассказов Мушга и персонажи, занятые в них. Это обыкновенные, средние люди, примечательные разве только своей обыкновенностью. Большая тема реалистической литературы — тема «маленького человека» — находит в лице Мушга своего ревностного и последовательного продолжа-

теля. Писатель, правда, помещает своих героев на разные ступеньки социальной лестницы, наделяя одних относительным благополучием, сытой самоуверенностью и умеренным мещанским достатком, других бросая в пропасть крайней нужды и жестокой — ожесточающей — бедности. Для Мушга чрезвычайно важно показать, что и те и другие равно несвободны в своих суждениях и поступках, ибо живут в рабском подчинении обстоятельствам, в неизбывном страхе потерять великими трудами и лишениями завоеванное у жизни пространство для существования — даже тогда, когда терять практически нечего. «Жизнь прожить — не поле перейти» — эта поговорка, пожалуй, покажется героям Мушга чересчур легкомысленной, недостаточно уважительной и боязливой. В их отношении к бытию превалирует страх, они ступают по жизни осторожно, с опаской, сгибаясь под непосильным бременем обстоятельств, и тяжесть этой ноши исключает мысль о том, чтобы пособить кому-то другому.

«Я не скуп. Я только боюсь тратить деньги», — признается тихий бухгалтер, герой рассказа «Синий музыкант»... Сын, не стесняясь присутствия умирающей матери, подчитывает, во что обойдется ее содержание (а, может быть, смерть) в частной клинике...

Почти все герои Мушга распознаются в отношении к деньгам. Невзрачные на вид, робкие в повадках, они зачастую только в соприкосновении с денежными интересами и раскрываются сполна, ибо деньги для них важнейшая и совсем не шутливая реалья, сокровенное средоточие чуть ли не всех помыслов и поступков, незблемая точка отсчета жизненных ценностей. Губительная власть денег, в поисках которых человек тратит и теряет себя, — давняя тема мировой литературы, и Мушг дает несколько превосходно разработанных ее вариаций. В рассказе «Гиндукуш», например, при всем внешнем спокойствии и деловитой обыденности повествования воссоздана острейшая и безысходная драма человеческих отношений: мать буквально выбивалась из сил, жизнь положила на то, чтобы вырастить сына, поставить его на ноги любой ценой — а ценой этой оказалась утрата душевной близости, очерствение сердца. Калодневная забота о деньгах заслонила от людей все остальное, и теперь мать и сын хотят и не могут понять друг друга, не говоря уж о том, что они не в состоянии друг друга любить. Гротескное прочтение той же темы — рассказ «Расплата» — трагикомическая история жизни и необычных преступлений служащего похоронного бюро Армина Блойлера, обеспечившего свое существование продажей собственного достоинства и просто счастья.

Вирочем, герои Мушга отнюдь не гобсеки, их подчиненность деньгам и денежным интересам не маниакальная страсть, а всего лишь инстинкт самосохранения, вбравшаяся в сознание привычка, без которой не выжить. Когда инстинкт самосохранения становится единственной целью существования — а Мушг на судьбах своих персонажей показывает, что так случается очень часто, — жизнь человека перестает отличаться от жизни животного. И в некоторых рассказах Мушга

люди форменным образом уверяют: автор не боится живописать этот процесс патологической деградации человеческого сознания, поскольку видит и с беспристрастной правдивостью показывает его именно как процесс социально обусловленный. Рассказ «Никаких девочек» — это, по сути, эпизод из «жизни животных», жутковатая история о том, как сильные поедают слабых. В одной из своих статей Мушг так формулировал задачу писателя: «Выводить на чистую воду все те маленькие бесчеловечности, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу». Думается, рассказ «Никаких девочек» очень наглядно дает понять, что имел в виду Мушг: именно «маленькие бесчеловечности», цепочка мелких и жестоких повседневных подлостей, чинных, впрочем, с большой расчетливостью, приводят героя рассказа к самоубийству.

Особой горечью проникнут рассказ «Playmate». Мушг показывает в нем, как те же «маленькие бесчеловечности» ожесточают и коречат детскую душу, как разлад в мире взрослых надламывает хрупкую детскую психику. Вообще тема столкновения ребенка с жестокой реальностью «взрослых» отношений, основанных на недоверии, лжи и эгоизме, с миром своекорыстных интересов, в котором человек вынужден приспособливаться уже в детстве, звучит во многих рассказах писателя («Расплата», «Гиндукуш», «Синий музыкант»), и звучит с болезненной пронзительностью.

Мушг, как уже было сказано, пристально исследует проблему несвободы личности в буржуазном обществе. Одно из проявлений этой несвободы — подчиненность человека жесткому социальному регламенту, своду гласных и негласных установлений, преступить которые безнаказанно нельзя. С этой точки зрения национальный японский колорит рассказа «Адуко пора замуж», хотя и воссоздан с большим знанием дела (Мушг два года прожил в Японии), все же остается условностью, ибо писателя интересует не этнографическая специфика, а обобщенная ситуация несовпадения интересов личности с предписаниями господствующей морали, обычаев, традиций — всего жизненного уклада. Человек, выпадающий из нормы, либо оказывается парией, изгоем, «породным телом» (именно так называется первый сборник рассказов Мушга, вышедший в 1968 году), либо вынужден, покорившись негласно установленному «порядку», нивелироваться, «жить, как все». И неважно, что причины, вызвавшие отклонение от нормы, порой вовсе не зависят от «пострадавшего» — это может быть и болезнь (рассказ «Дальние знакомые»), и глубокая старость (рассказ «Обед в Ютике»), — результат один: человека выбрасывают на периферию общества (так звери изгоняют из стаи больных особей), предоставляя ему самому, в одиночку справляться (или не справляться) со своей бедой и неприкаянностью. При таком положении вещей первейшей потребностью персонажей Мушга становится потребность затеряться в общей массе, ни в коем случае не выделяться (все равно — в худшую или лучшую сторону) на фоне остальных. В рассказе «Синий музыкант», который в известном смысле являет собой маленькую энциклопедию мироощущения пугливого обывателя, герой не

без тихой гордости констатирует, что он хорошо устроился в жизни — «не на виду, но и не в тени»: в большой массе он «чуть лучше замаскирован» от ударов судьбы.

Нетрудно заметить, что во всех своих рассказах Мушг в конечном счете повествует об одном и том же: об отчуждении личности в буржуазном обществе, о том, как и почему человек в этом обществе лишен возможности быть собой, а часто и вообще быть человеком. У рассказа «Неверный прокурис» очень многозначное, ироническое название. Герой его, вполне обеспеченный, благополучный чиновник, внезапно и даже не совсем осознанно совершает поступок, выбивающий его существование из привычной и, как казалось, надежной колеи: заводит любовницу. Однако всего лишь один, да и то робкий и пугливый, шаг в сторону от действительного к желаемому напроць выводит его из душевного равновесия. Метания между постылой явью и пекданно-негаданно свершившейся мечтой (пусть даже маленькой, серенькой и пошловатой) непосильны для героя, он в конце концов буквально заболевает от них. Неверный сперва жене, которой он до смерти боится, потом любовнице, которую он бесславно и панически бросает, он неверен прежде всего самому себе.

«Неверный прокурис» — это рассказ еще и о том, как искажаются все — даже самые естественные — человеческие отношения в обществе, где царит отчуждение. Люди словно изначально изолированы друг от друга, их внутренние миры взаимонепроницаемы, обыкновенное душевное тепло, соучастие в чужой судьбе, сострадание чужому горю в таких условиях — почти подвиг.

Один из сборников малой прозы Мушга назван язвительно: «Любовные истории» (1972). Повествуется в нем о невозможности любви в мире своекорыстных интересов, ибо любовь — чувство бескорыстное. Другой сборник называется «Дальние знакомые» (1976), и в его названии уже нет иронической отстраненности. Дальнее знакомство, ни к чему, кроме вежливого и безучастного внимания, не обязывающее, — вот тот тип отношений, который возможен, допустим и естествен между людьми в атмосфере тотальной дегуманизации. Дальними знакомыми — и не более того — оказываются, например, мать и сын в рассказе «Гиндукуш».

Однако — и для художественного исследования, предпринимаемого Мушгом, это чрезвычайно важно — писатель не ограничивается достоверной констатацией и скрупулезным изображением процесса отчуждения. Он заставляет отчужденное сознание ощутить свою отчужденность, вплотную подводит своих героев к постижению пустоты и «неправильности» их существования и пристально наблюдая, как они, эти «маленькие люди», переживут это кризисное откровение, что предпримут: бросятся ли в отчаянный (и, может быть, последний в жизни) ночной загул («Дальние знакомые»); задумают ли изощренное преступление в отместку за загубленную судьбу («Расплата»); помечтают ли о такой желанной (и такой недоступной) простоте в отношениях с близкими, о незатруднен-

ной и естественной любви к ним («Гиндукуш») или всерьез попытаются, толком еще не зная как, обрести себя, пачать новую жизнь («Для начала, во всяком случае»)?

Мысль о том, что жизнь могла бы сложиться иначе, рано или поздно посещает всех героев Мушга, угнетая их своей внезапной неотвратимостью, грозя душевными срывами, потрясая стабильные, устоявшиеся основы их личного бытия. Пожалуй, наиболее интересен в этом отношении рассказ «Синий музыкант», отмеченный инсказательной многозначностью, обычно Мушгу не свойственной. При всей внешней достоверности повествования, при всей беспощадной правдивости раскрытия в нем психологии главного героя, мелкого чиновника, буквально затравленного страхом потерять то, что приобретено годами самоотверженного унижения, в рассказе отчетливо просматривается, «сквозит» аллегорический контекст. «Синий музыкант» с его презрением к собственнической психологии, с его гордостью бедняка, с его чудаковатой преданностью дикийному искусству игры на странном, немзыкальном инструменте — это как бы двойник рассказчика, воплощение того, что упущено в жизни запуганного обывателя и чего уже не вернешь: внутренней свободы, умения быть выше обстоятельств, бескорыстия, нравственного достоинства, творческого начала, наконец — просто способности любить. Все это безвозвратно утеряно в погоне за деньгами и теперь уже ни за какие деньги не купишь, ибо утрата человечности невозможна.

В свое время отец Адольфа Мушга — известный швейцарский литературовед Вальтер Мушг — написал очень интересную книгу: «Трагическая история литературы». Героями этой книги стали великие художники слова, страдавшие от разлада между искусством и действительностью и так или иначе этим разладом сложенные: Гёльдерлин, Клейст, Бодлер, Кафка... В эту галерею трагических судеб истории литературы естественно вписывается и судьба немецкого романтика Новалиса, «поэта Голубого цветка», — именно в этом символе воплотились его романтические мечты о безграничных возможностях человеческого гения, о победе идеала над действительностью. У Адольфа Мушга другие герои — они отнюдь не романтики, они скромны и боязливы даже в грезах, посягать на великое не смеют даже в воображении, и голубая, светлая мечта Новалиса — не про них. В жутковатом синем ореоле им мерещатся их второе «я», укоризненное воплощение безвозвратно утерянной ими человечности.

В рассказе «Кольцо» писатель с тревогой размышляет о том, как трудно дается искусству подлинность, как велика для художника опасность соблазниться мнимыми сложностями, надуманными конфликтами — и пройти мимо жизни с ее реальными бедами, невзгодами и противоречиями. Адольф Мушг очень честный художник, и можно надеяться, что ему самому эта опасность не грозит. Задавая вопросом: «Что может сделать автор?» — Мушг отвечал на него так: «Писать, и по возможности писать так, чтобы обстоятельства, под гнетом которых он, как и другие, страдает, можно было познать, прочувст-

воватъ и в конце концов вместе с другими людьми, зависящими от этих обстоятельств, способствовать их изменению». В стремлении к подлинности—высокий нравственный пафос всего творчества Адольфа Мушга, писателя-гуманиста, вдумчивого критического исследователя современной буржуазной действительности.

М. Рудницкий

— Грандиозно! Вы даже не представляете, как это здорово! — закричал он еще в дверях. — Все в сборе, как на похоронах! Гляди-ка, и впрямь явились все до одного!

Он развел руки в стороны. Из-за его спины показалось лицо молодой женщины, она мягко улыбалась. На разгоряченном лбу вошедшего блеснули капельки пота, они скатились, когда он резким движением откинул волосы назад. Несколько непослушных прядей прилипло к вискам. Волосы у него были пышные, их так и подмывало погладить. Сейчас они выглядели рыжеватыми, как после купанья, даже черный ворс пальто и руки, которые он тут же опустил, отливали красноватым блеском. Возможно, потому, что абажуры в зале ресторана были обтянуты красной тканью.

— Хоронили пьесу с цветами, — продолжал он, вешая пальто на крючок. — Так что не стоит особенно возмущаться.

Сидевшие перед ним люди не шелохнулись, они словно стали еще тише, чем были. Потом с едва заметной поспешностью из-за стола поднялась молодая женщина, одетая, как и большинство, во все темное, и направилась к только что вошедшей паре. Она торопливо подставила мужчине для поцелуя обе щеки, но, когда он захотел обнять ее за плечи, отступила на шаг.

— Добрый вечер, Роберт, — сказала она. — Поздравляем тебя. Успех фантастический! Мы уже слышали.

Он окинул ее взглядом.

— Мы уже слышали, — с комическим отчаянием передразнил он ее. — Просто удивительно! Неужто получили телеграмму? И все-таки здорово, что все вы случайно здесь. Давайте же тихо поплачем и разойдемся по домам.

— Спасибо за приглашение, — сказал седоволосый человек, на его детском лице застыло печальное выражение.

Мужчины тем временем встали. Молодая чета принялась обходить столы. На нем был костюм в полоску, на ней — светло-оранжевое платье, которое резко выделялось на фоне других, темных. Роберт не упускал случая сорвать у женщин поцелуй, но краешком глаза следил за женой: ему хотелось, чтобы она это видела. В изысканном кругу местной богемы тогда было принято целоваться. Но страшное дело: скованность в этот вечер не проходила.

— Да не делайте вы из мухи слона, — сказал Роберт, не скрывая больше досады. — Скажите уж сразу: вчера ночь напролет кутили, а теперь маетесь с похмелья? А меня в это время вели на заклание. В Берлине!¹ Должен сказать, я должен, однако, сказать...

Постепенно все разговорились. Завязался тот тип беседы (жене Роберта показалось — несколько натянутой), в которой чувствовали себя как рыба в воде и любили блистать люди этого круга. Посыпались остроумные анекдоты, время от времени кто-нибудь с нарочитой горячностью разражался эмоциональной тирадой; хорошего тона боялись, как чумы, предпочитая ядреное словцо изысканному — это считалось признаком «брутальности»; с наслаждением, но не навязчиво иронизировали над собой, а о серьезных вещах говорили как о чем-то незначительном; каждый знал — другие разберутся в том, что важно, а что нет.

Роберт дождался минуты, когда больше не нужно было говорить о своей пьесе — за него это теперь делали другие. Сам он стал рассказывать о полете, о том, как они долго не могли взлететь.

— Честное слово, этот гроб буквально полз по взлетной полосе, он просто не мог оторваться от земли. Так ведь, Ли? Мы спокойненько летим прямо на опору высоковольтной линии, ну, думаю, копец, а жаль, нам с Ли жилось неплохо, но тут опора проползает у нас под брюхом — прямо впритирочку.

Кто-то из гостей принялся уверять, что Темпель-

¹ Автор имеет в виду Западный Берлин. — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

хоф слишком мал для столь оживленного движения, кто-то сообщил данные об интервалах между рейсами.

— Чтоб там ни говорили, но это аэродром-работяга, без knoll international и passengers-please-folklore¹, этим мне и правится Темпельхоф. Вот только между Берлином и Франкфуртом все время кормят, да и после Франкфурта три раза чай подавали и два ужина. Вздобриться можно. А тут еще леденцы при взлете и посадке — у бедных стюардесс ни минуты покоя...

Стюардессы стюардессами, но Роберт чувствовал себя не в своей тарелке — для хорошего настроения все-таки чего-то недоставало. Не слишком ли долго он распространялся о полете, кого этим удивишь? Здесь все летали на самолетах; пожалуй, можно снова со спокойной совестью заговорить о пьесе.

Его опередил Олаф, редактор левой газеты, добрая душа, и Роберт почувствовал к нему благодарность. Пришлось опять напустить на себя равнодушный вид, потом он разъяснил один из образов пьесы, но в довольно пренебрежительном тоне. А когда Олаф начал извиняться, что не прилетел в Берлин, Роберту с трудом удавалось сохранять рассеянный вид. У него, сказал Олаф, именно в день премьеры Роберта было срочное интервью с М. Ф., которое никак нельзя было отложить...

— Да перестань, пожалуйста, Олаф, пусть тебя не мучает совесть, я же знаю, кто такой М. Ф. Ясно, ты не мог ничего поделать.

Роберт ощутил укол самолюбия, но виду не показал; ревнивое чувство зависти к коллеге, которому отдали предпочтение, было ему хорошо знакомо, но все остальное... в самом деле, что здесь происходит? Почему каждое слово в этом зале звучит так неестественно?

Улучив момент, он вполголоса спросил:

— Ли, как ты думаешь, почему у нас сегодня что-то не клеится?

— Не пойму, — ответила она. — Ты еще полон премьерой, а у них ведь премьеры не было.

— Хочешь сказать, здесь попахивает бесплатным угощением для бедных родственников...

¹ Здесь: (без) атмосферы угождения пассажирам, характерной для крупных международных аэропортов (англ.).

Она ответила улыбкой.

— Значит, и ты что-то чувствуешь, — сказал он. — Хорошо бы докопаться до причины. Не мастер я определять настроения, могу и ошибиться. Значит, не ошибся. Интересно, любят ли они меня по-прежнему?

— Разумеется, — сказала она. — Разве можно тебя не любить?

Роберт огляделся. В дверях стояла официантка Моника, которую он в шутку называл своей «подружкой». Она держалась не так, как другие официантки, и он обращался к ней на «ты», но в этом «ты» не было и намека на покровительственный тон — двух мнений тут быть не могло.

— Эй, Моника, — громко позвал он. — Нам бы чего-нибудь выпить. Не осталось ли у вас белого? Того самого, урожая пятьдесят девятого года? Тогда принеси-ка нам... ээ... бутылочек этак... Сколько? Неси, неси, потом сосчитаем. Бог ты мой, как она поворачивается! Вы только гляньте! И такая прима-балерина обслуживает нас. Вот жалость, Рауль, что ты уже не так строен, как раньше. Жена Лота, да и только. А эта бы весь Содом превратила в соляные столбы. Да, Моника, и чего-нибудь закусить. Жаркое из граубюнденских бычков, только-только освежеванных. Потом, Моника, обыкновенных маленьких огурчиков, и чтобы с лучком колечками. Побольше. Во-о-от столько, — и, широко раскинув руки, он словно сгреб целую грудку.

Гости смаковали содержимое плоских деревянных тарелок, манипулируя непомерно большими перочницами. Все заметно повеселели. Карол спросил Ли, о чем она думает; он боготворил Ли, пожирал ее глазами; Карол был парень не промах, и то, что он обожал его жену, возвышало Роберта в собственных глазах. Роберт быстро окинул всех взглядом. Но вспышек зажигательного веселья, обычно возникавшего в его присутствии, сегодня не было, всеобщего веселья не наступало. Что-то всех угнетало.

В углу, совсем одна, сидела Росвита. На ней было черное закрытое платье без рукавов, только свади чуть-чуть обнажавшее шею. Сегодня она не курила. Росвита была женой Яна, золотых дел мастера, большого друга Роберта. Никто не помнил, чем она занималась, но быть женой Яна — само по себе нечто до-

статочно оригинальное! Кто мог бы подумать, что он когда-нибудь женится.

Роберт припомнил, что между ним и Росвитой установился особый тон: Росвита — вот берег, к которому можно прибиться, идеальная защита от нарастающего в Роберте раздражения. Пусть все видят, как он сидит в углу и любезничает с Росвитой. Да и Ли тоже не мешает разок притвориться равнодушной. Пусть привыкает помаленьку к тому, что у него есть потребность в самоутверждении.

— Ты опять распустила волосы, Рос; — сказал он, садясь рядом, но не слишком близко. Он любил вести интимные беседы на расстоянии. — Как тогда, помнишь? Когда ж это было? В марте? Исключено. Я ведь привык видеть тебя только с узлом. Волосы у тебя замечательные, это точно. Но вот ты их распустила — и, ей-богу, я даже не знаю, что сказать. Где ты бросила Яна? — Пальцем он поправил ей прядь за ухом. — Я считал, впрочем, что он тебе к лицу, этот узел. Он был прямо-таки невероятным. Твоя прическа словно говорила: моя хозяйка замужем. А в лице веры еще не было. Но я-то верил, я всегда верил... *Credo quia absurdum*.¹ Если уж Яну суждено иметь жену, Рос, я говорю, суждено, она должна быть похожа на тебя. С таким же спокойным и пугающе прекрасным лицом.

Роберт выпил; потом выпил еще.

— И вот на тебе — ты сидишь тут в углу одна-одиношенька, а Ян куда-то смылся. Нехорошо... Но что я говорю — пугающе прекрасным! Красота — всегда вселяет страх. А ты... ты бывала красивее, чем сегодня, но такой утопченной — никогда. Знаешь, почему я не боюсь тебя? Потому что написал выдающуюся пьесу.

— Расскажи, — попросила она.

— И не подумаю. Я же не расспрашиваю тебя о Яне. Об этом лентие. У меня радость, а он где-то отсиживается. Котати, ты чуть бледна.

— Это от освещения.

— И от погоды. Мудрено хорошо себя чувствовать в такую погоду, как здесь. В Берлине все было по-другому.

— И ты ничего не хочешь рассказать...

¹ Верю, потому что это абсурдно (лат.).

— Расскажу, если ты что-нибудь съешь. А то совсем ни к чему не притронулась. — Он осторожно поднес к ее губам кусочек мяса.

Она быстро схватила его зубами, он не ожидал этого и неловко отдернул руку.

Его уже слегка развезло. Она жевала. На глазах у нее выступили слезы.

— Так-то лучше, — сказал он. — Надо больше есть, если хочешь стать взрослой девочкой... Да что с тобой? Что-нибудь случилось?

— Подавилась. Я часто давлюсь в последнее время.

— Этот мотив я уже использовал, — сказал он. — Ей-богу, получилось здорово. Но надо увидеть эпизод на сцене. Мёллер-Строцци сделал из него конфетку. В Берлине. Стоит на сцене, широко расставив ноги, и *глотает* — раз глотает, другой, третий. После третьего глотка лицо его покрывается пятнами, и он становится до жути спокойным. «Вот оно, — шепчет. — Опять. Понимаете, душит. Чуть-чуть давит в горле. Все как должно быть. По науке. Карцинома называется. То ли рак пищевода, то ли рак гортани, выбирайте, что правится. Рак пищевода. Легкая, чуть ощутимая боль. Вначале боль всегда незаметна. Слегка давит, и все. Совсем легко. Но, будьте уверены, боль усилится. Так пишут медицинские светила. Сделаешь три глотательных движения — и боль тут как тут. Но раз уж она появилась, раз чувствуешь это *першение* в горле, значит, процесс зашел далеко. Очень далеко. Его уже не остановишь. Можно, правда, попробовать облечение, но это как мертвому припарки. И операция бессмысленна. *Метастазы* уже давно делают свое дело. Вот так. Недолго мне уже осталось глотать». Слушай дальше, Рос. Мёллер-Строцци потрясающе изобразил эту скорбную задумчивость, этот утопченный шантаж: «О, если бы вы знали, какая это радость — видеть, что хоть вы-то здоровы. Будем же снисходительны друг к другу то недолгое время, которое мне осталось жить на земле. А теперь — хватит об этом». И он снова *глотает* — медленно, демонстративно, в жуткой тишине. Когда он глотает в третий раз, на лице у этой тряпки... А он тряпка, хотя сложен, как атлет... О чем это я?.. Да, его лицо вдруг искажается болью, потом оно становится блаженным, до отвращения блаженным. Но вся

соль в том, Рос, это зрители давно знают: рак-то у его жены. Но она скрывает свою беду, чтобы не портить мужу его спектакли. У мужа-тряпки все в порядке, в абсолютном порядке, а его ближние погибают; своим глотанием он изводит всю семью, доводит всех, требуя внимания и жалости к себе. Он был бы ничем, если бы не твердил без конца: я умираю, я знаю, что вы тоже когда-нибудь умрете, но сейчас это неважно, умираю ведь я, умираю незаметно, так что вам и невдомек. И вот он стоит и глотает. Глотает с наслаждением, в то время как погибают они. Но он ничего не замечает. Он просто ничего не замечает.

— Здорово, — сказала Росвита.

— Да, получилось неплохо, — согласился Роберт и провел рукой по волосам. — Ты знаешь, я не воображаю о себе бог весть что, но тут я попал в точку.

— Я прочту, — сказала Росвита.

— Ты ее увидишь, — весело сказал он. — Пьесу поставят здесь. Так и быть, я уступлю господам из драматического театра. Год назад я отдал бы им пьесу почти даром, да еще бы в благодарностях рассыпался. Но им подавай импортное, свое у них не в чести. Зато теперь им придется изрядно повилать хвостом, прежде чем я соглашусь. Но пьесу поставят, не сомневайся.

— Да, проглядели они тебя, — сказала Росвита.

— Какое у тебя красивое кольцо, Рос, — сказал Роберт и склонился над ее рукой. — Давай-ка поговорим об этом серьезном упущении. Вот уже год, как вы женаты, а я, кажется, еще не разглядел как следует твое кольцо. Сейчас наведемся. Работа Яна? Сразу видно. Просто блеск.

Она сняла кольцо с пальца и протянула Роберту. Он повертел его в руках и, прищурив один глаз, стал сквозь кольцо смотреть на Росвиту. Потом взял у запястья ее вялую, беспомощно повисшую руку и опять надел кольцо на палец.

— Повторное венчание, — сказал он. — У меня есть на это право. Летом прошлого года сидим мы в «Кроенхалле». Ян и я. «Стоит ли мне жениться, Роберт, выйдет ли что-нибудь?» — спрашивает он. А я в ответ: «Слушай внимательно, Ян. Если у тебя с Рос выгорит, то это будет не просто брак, нет, ты обретешь

настоящую жену! Но если ты принесешь ее в жертву своим комплексам или своим убеждениям, тогда нашей дружбе конец, с глупцами я не дружу». Voilà¹. Я знал, что говорю.

— Ты очень мил, Роберт, — сказала Росвита.

— Уж кто-кто, а я-то знаю: Яна не хуже тебя; — сказал Роберт. — Ян бесподобный ювелир; это ни для кого не секрет, но по натуре он — мягкий, что плюшевый мишка. Ему хочется, чтобы его на ручках таскали, вместе с его дикой впечатлительностью.

Росвита улыбнулась.

— Ты его первая женщина, — торжественно объявил Роберт заплетающимся языком. — Можешь не сомневаться: Ты избавила плюшевого мишку от комплексов. Теперь он уже улыбается, пусть все еще робко, пусть уголками рта, согласен, но он счастлив в той мере, в какой может быть счастливым. Ты не мешаешь ему возиться с драгоценностями, ты для него как оправа для драгоценного камня; и он это понимает.

— Спасибо за комплимент.

Роберт пристально посмотрел на нее.

— Ты спасла этот вечер, Рос; — сказал он громко, даже слишком громко. — Он ведь никак не хотел вытанцовываться, что от тебя не укрылось. Разве на приличном вечере ты сидела бы в этом углу? Что это я хотел сказать? А, ты спасла Яну жизнь. Я помню, как он места себе не находил. Знаешь, что он сказал через неделю после вашей свадьбы?

Росвита покачала головой.

— Ты так стараешься, Роберт.

— Ерунда, — горячился Роберт. — Он сказал: «Роберт, я боюсь. Я чувствую к ней такую нежность, что страшно становится. Боюсь, что она попадет под автомобиль, овалится со скалы. Ужасно боюсь несчастного случая. Но за нас, за наши отношения я больше не боюсь. Чего нет, того нет, Роберт. Я боюсь, потому что все слишком хорошо».

— Мне так и не пришлось свалиться со скалы... — задумчиво сказала Росвита и вышла.

— Вот видишь, — засиял Роберт, — вот видишь.

Потом он придвинулся к ней, она повернулась, буд-

¹ Так-то: (франц.).

то прислушиваясь к нему-то, и он поцеловал ее в шею за ухом. Обими руками она взяла его за голову и легко оттолкнула.

Когда подошла жена и положила ему на плечо руку, он говорил уже с закрытыми глазами, голова его моталась из стороны в сторону, а руки блуждали по столу. Росвита отодвинула юбки от края стола.

— Пожалуй, хватит, — сказала Ли, обращаясь скорее к Росвите, чем к Роберту.

В глубине зала уже одевались; оттуда было видно, как Моника ставит стулья на столы.

Роберт поднял глаза на жену и поднялся сам.

— Call it a night¹, — заворчал он с наигранным раздражением. — Ладно, Росвита. Я хотел сказать: ладно, Ли, так и быть, давайте закрутить и уходить. То есть закрутиться и уходить. — Он снова с усилием открыл глаза и прислонился к жене, уцепившись ей за плечи и поглаживая их. — Что бы я без тебя делал, Ли? У меня ведь никого больше нет.

Ли мелко улыбнулась Росвите, собиравшей свои вещи. И повернула Роберта лицом к дверям, потом помогла ему надеть пальто, даже пуговицы застегнула. Уже на улице Роберт обернулся.

— Стоп! — заорал он. — Мы забыли расплатиться! Моника! Я плачу за всех!

— Не накладно ли для начинающего драматурга? — спросил Олаф, редактор левой газеты. — Нет, нет, за все платит моя всемирно известная газета.

С этими словами он поддержал Росвиту под локоть, как поддерживают пострадавших. Роберт устался на них.

— Ли, — занял он, — у меня отбивают всех женщин.

«Почему у Карола такая вымученная улыбка», — мелькнула у него мысль. Пока он вспоминал, кого забыл поцеловать, жена мягко втолкнула его в такси; уже в машине он вскинул руку и все махал, махал, хотя они проехали почти полгорода...

— Читаешь рецензии на мою пьесу, а меня не будишь, — сказал он, стоя в дверях. — Не слышишь даже, когда я вхожу...

¹ На сегодня хватит. Перефразирована идиома: Call it a day (англ.).

— Просто я жду, когда ты появишься в дверном проеме, — сказала Ли и отложила газету в сторону. — Рама тебе очень подходит.

— Разве это дело — тайком ускользнуть из постели, — проворчал Роберт. Он все еще стоял в дверях, весь взлохмаченный, в халате какого-то ядовитого цвета. — Можно бы и подождать... А вдруг утро окажется мудренее вечера. Забываем старые добрые обычаи.

— Во-первых, я с утра не в духе. — Она встала и обняла его. — А во-вторых, мне лучше знать, чего ты хочешь. Ты хочешь чашку кофе.

— Выпью, если скажешь, что во всех газетах блестящие рецензии. — Он заложил руки за спину.

— Рецензии наверняка блестящие, но я еще не вынимала газеты. Вот и просматриваю радиопрограмму. Почтовый ящик опять забит до отказа.

— Прискорбно, прискорбно, — сказал он.

— Садись-ка лучше, в ногах правды нет. — Она вышла на кухню. Через приоткрытую дверь он наблюдал, как жена привычно возится с посудой. Так же привычно она поставила перед ним завтрак. Он посмотрел в окно.

— Серенький сегодня денек, — сказал он.

— Да нет, пока солнце, — ответила она. — Но погода еще может вконец испортиться. Сейчас только час.

— Дня?

— Дня.

— С тобой у меня *никогда* не было проблем, — сказал он.

— Потому что ты меня *никогда* не любил, — возразила она.

— Ты убиваешь во мне художника. Вдохновляешь меня исключительно на бульварные пьесы. Но сегодня ты, видно, хочешь отыгаться — яичко-то снова недоварено.

— Вот видишь. Опять трагедия.

Прикурив сигарету, он стал совать ее Ли в губы, норовя во что бы то ни стало угодить в самый уголок рта. Дым попал ей в глаза, потом в горло, и ему пришлось долго хлопать ее по спине. Как бы между прочим он спросил:

— Ну и как я вчера держался?

Откашлявшись, она хрипло ответила:

— Очаровательно.

— Я не все помню. Видимо, отключился...

В это время зазвонил телефон. Роберт скорчил недовольную мину и взял трубку. Разговаривая, он с серьезным видом разглядывал жену. Какая она вся ладная. Густые каштановые волосы падают на глаза, покрасневшие от дыма. Их даже краснота не портит.

— Да, Олаф, — сказал он. — Как раз об этом я только что спрашивал жену. Но она ответила уклончиво, а ей пора бы выражаться точнее. Я вообще считаю уклончивость мелкобуржуазным предрассудком... Так как я вчера держался? Вот именно... Что ты имеешь в виду? Какое дело? С каким кольцом? В чем, по-твоему, я зашел слишком далеко?.. Послушай, ни с кем я не обменивался кольцами. Тебе пора заказывать очки... Ну, показывала. Она показывала мне кольцо. Потому что его сделал Ян... При чем тут жуть? Почему от меня жутью повеяло?.. Что я сам должен знать? Учи кого-нибудь другого... Что ты сказал?..

С Робертом что-то произошло. Его глаза, которые улыбались Ли, вдруг закатились, потом беспокойно забегали. Он выпрямился и побледнел.

— Нет, — сказал он.

Больше он не произнес ни слова, несколько раз судорожно глотнул, впился руками в трубку и, втянув голову в плечи, резко наклонился вперед.

Из трубки доносилось «алло», «алло», далеко и пронзительно, будто кричал попугай. Роберт положил трубку. Руки его дрожали.

Ли встала. Роберт подошел к окну. Какие резкие контуры вишни во дворе. Как при вспышке магния.

— Ян застрелился, — сказал он. — Неделью назад. Позавчера его кремировали.

Помедлив, Ли сказала:

— Ты еще не одет.

— Да, — ответил он. — Иду к ней. Ведь надо? Конечно, надо.

Ли принялась убирать со стола.

Он слегка ткнул рукой рядом с защелкой, но зеленая дверь все же отворилась. Она была только прикрыта. Молодая женщина, похожая на Росвиту, склонилась над выдвинутыми ящиками стола. Её она не заметила. Пачки зеленоватых счетов лежали на зеленом, цвета мха, сукне письменного стола. Тут же лежали драгоценные камни, каждый на полоске бумаги с надписью. За зарешеченным окном виднелась ажурная вязь зимнего кустарника. На женщине был коричневый рабочий халатик, из-под которого выглядывал край черной помятой юбки. Согнувшись над столом, она напоминала птицу, нахохлившуюся и очень жалкую.

— Здравствуй, — сказала она, помедлив.

Он подошел ближе. Когда она выпрямилась, он остановился. У нее было усталое лицо, слегка впалые щеки.

— Вода для кофе сейчас вскипит, — сказала она. — Ты ведь выпьешь кофе? Сегодня я не топила.

— Прости. Прости, пожалуйста, — сказал он и посмотрел на нее.

— Ян не хотел, чтобы я посылала тебе телеграмму. Так было написано в записке. — Она вытащила штепсель электроиниятильника из розетки. К окну поднялось легкое облачко пара, хрупкое, как драгоценное ожерелье. — Ты же был в Берлине. Он не хотел мешать подготовке твоей премьеры.

— Понимаю, — сказал Роберт.

— А в день похорон как раз была твоя премьера, — сказала она, наливая кипяток в чашки. На дне чернела маленькая горстка кофейного порошка, который быстро растворялся, почти не окрашивая жидкость; она оставалась прозрачной. Росвита подержала руки над паром. — Я вчера думала, ты знаешь.

— Этого еще не доставало.

— Может быть, — сказала она. — Может быть, именно этого и не доставало.

Вытянув губы, она осторожно сделала первый глоток; когда она наклонилась к чашке, пряди волос упали ей почти на глаза.

— Я восхищалась тобой, — сказала она и подула на кофе. — Мне казалось, ты... ты очень хорошо придумал — пофлиртовать со мной. Это означало, что Ян

для тебя еще жив. Ты был единственным в тот вечер, для кого Ян еще не умер. В каждом твоём слове я чувствовала, как много он для тебя значит. Ты словно вернул его. Для тебя он еще не был сожжен. Никто так не помог мне в тот вечер.

Он побарабанил пальцами по коленям, потом положил руки на стол и стал поглаживать полированный край столешницы.

— Вот как ты это понимаешь... — проговорил он.

— Да, — ответила она.

Некоторое время они молчали.

— Так ты будешь пить кофе? — спросила она.

Придя домой, он постоял в дверях. Потом, не снимая пальто, подошел к окну и выглянул наружу. Спичкой почувствовал взгляд Ли.

— Ли, — сказал он рассеянно, — я жалкий сочинитель. Халтурщик.

— Никто этого никогда не заметит, — ответила Ли. — Они будут хвалить все, что бы ты ни написал.

Помолчав, он спросил:

— Ты считаешь, я смогу писать и дальше?

— Конечно, — ответила Ли. — Писать — не такое уж серьезное занятие.

Он все еще смотрел в окно. Контуры вишни перед его глазами расплывались.

ПОЕЗДКА В ШВЕЙЦАРИЮ

Первое, что она почувствовала еще в дверях, был запах — своеобразный, стойкий, слегка сладковатый запах, наполнявший всю квартиру. В этой комнате он был особенно сильным. Потом она увидела свою фотографию на письменном столе, на том самом месте, куда падал его взгляд, когда он отрывался от книг, — несколько наискосок слева, между двумя свечами. Он писал ей о двух свечах, и впрямь вот они стояли — две витые восковые свечи. Их ни разу не зажигали, они были целые, с белыми фитилями, те, что горели здесь раньше, были перед ее приездом заменены. Цветная фотография получилась несколько блеклой. Тем воздушнее выглядела на ней Франциска, изогнувшаяся в бедрах навстречу редким березкам, расплывчатые ветви которых качались на фоне бледного неба. Линия шеи и детской головки с копной густых волос, запутавшихся в листве, была слегка выпуклой, нечетко, смутно повторяя выпуклость груди — ветер раздувал платье, одновременно смяв его.

Прищурившись, она изучала себя. Потом ее взгляд скользнул по штативам с пробирками и книжным полкам, на одной из них примостился череп на шарнирах и с пронумерованными костями. Над кроватью Хайнца висело что-то вроде изображения святого — потемневший лик худого бородатого мужчины с равномерным орнаментом по фронтальной части изображения.

Кожа ее блестела с дороги, она не очень хорошо перенесла такси. Запястье руки, в которой она держала сумку, побелело. Но ощущение, что от порога на нее смотрят две пары глаз, придавало ей некоторую бодрость.

— Фантастика, — сказала она, — какой вид!

Она подошла к окну, занавешенному плотным тюлем, и посмотрела сквозь него, слегка подавшись вперед: задравшаяся юбка обнажила ее по-детски некрасивые ноги. Она резко повернулась и оперлась обеими руками о подоконник, подоконник был несколько высоковат, ее плечи вздернулись кверху.

— Значит, здесь ты занимаешься, — сказала она, — очень мило. А мы сможем потом послушать какой-нибудь хороший диск?

Две фигуры застыли в дверях, не переступая порога комнаты. Впереди Хайнц — большой и весь какой-то помятый, его близорукие глаза неотрывно смотрели на нее сквозь запотевшие стекла, выражая чуть ли не упрек, а на слегка загорелом лице был написан испытываемый им восторг, он все еще глядел чуть-чуть исподлобья, смущаясь, как четыре месяца назад в Бохуме, на вечеринке в клинике.

Швейцарец. Он ни с кем не танцевал, даже с ней не стал, когда она, разгоряченная пуншем, пригласила его на танец, он только улыбнулся своей вымученной улыбкой и потом все время смотрел на нее с явной заинтересованностью, чем очень смущал ее. На следующее утро она под села к нему за столик. Вблизи его взгляды были куда более безобидными, она без труда переносила их и даже спокойно наблюдала, как он покашливал от смущения, как двигались его губы, рождая слова, собственно, он был до смешного трогательным. Расставаясь, он пригласил ее как-нибудь зайти к нему послушать музыку, и через пару дней она действительно зашла к нему, во-первых, из любопытства, и потом — ей было по пути. Еще тогда она обратила внимание на запах. Он мало говорил, она только помнит, что он спросил ее, сколько ей лет. Он ставил пластинки, одну за другой — Бах, Дебюсси, Шостакович. Все его внимание было сосредоточено на иголке, чтобы она плавно опускалась; то и дело проигрыватель работал несколько секунд вхолостую, и тогда они избегали смотреть друг на друга. Он усадил ее в единственное кресло, покрытое рваной шкурой, а сам остался стоять в углу, стараясь не смотреть на нее, пока играла музыка. Правда, стула в комнате не было, он мог бы сесть на кушетку, но он не смел даже думать об этом. В паузах он

был все время занят — принес лимонный сок и крошечные пирожные, извинился, что у него нет льда. Но когда опять начиналась музыка, она не решалась есть, ей казалось, что ее украдкой жуящий рот будет выглядеть ужасно глупо, а глотание вообще неуместно и произведет на него неприятное впечатление, он же просто вовсе не смотрел в ее сторону. Когда она уходила, он не задержал ее руки. Казалось, он весь был еще во власти музыки — того бесценного сокровища, которым ему так трудно было делиться, он был очень бледен. Никакого вывода нельзя было сделать и из письма, присланного им после своего возвращения в Швейцарию, — десять страниц на машинке, и это во время подготовки к экзаменам — своего рода исповедь. Письмо содержало также подробные объяснения того, что он не успел или не сумел сказать ей на вечере в клинике или у себя дома, когда они слушали музыку, за что он себя теперь все время упрекает. Масса извинений. Букву «ß», кажется, в его школе не проходили, а в остальном, что касается грамотности, его письмо было безупречным. Она ответила — не без изысканности, как она надеялась. Пока она брала у пациентов кровь из мочки уха или измеряла РОЭ, ей все время приходили в голову разные выражения, которые она записывала между делом в записную книжечку, чтобы вечером они были у нее под рукой. Ее письма, написанные мелким синим почерком, оказывались все же намного короче, чем его. Иногда он вкладывал в конверт стихи в несколько строф или молитвы, в которых были подчеркнуты отдельные слова. Она никогда не знала точно, сочинил ли он эти стихи сам или они принадлежали какому-нибудь китайскому или персидскому мудрецу; спросить его она не решалась. Как бы продолжая эти стихи, часто обращенные непосредственно к адресату, он начал писать ей на «ты», он, правда, извинялся, но не отступал от заведенного правила. Она не сразу последовала его примеру, только когда ее разозлило его непривычно коротенькое письмо — причину которого он объяснил потом своей болезнью, — она, перейдя на «ты», выразила ему свое сочувствие. Следующее письмо было очень длинным, с множеством дорогих марок на конверте — ее маленький брат Хельмут проявлял к ним горячий интерес.

Когда Хайнц выдержал экзамен, то речь пошла, если она только правильно его поняла, о помолвке. И вот она здесь.

— С удовольствием, — сказал он, имея в виду хорошую пластинку, — с большим удовольствием. — Он улыбаясь на свой манер, она уже успела забыть как в его улыбке было сейчас что-то от гостеприимного хозяина — весьма заметная, несвойственная ему раскованность; она спросила себя — нравится ли ей это. Но прежде, чем ответить, она подошла к нему и легонько дважды поскребла его по плечу, чтобы он отошел от двери. Там стояла его мать. Франциска знала, что все это время мать Хайнца наблюдает за ней из темноты прихожей. Однако она чувствовала, что ей нечего опасаться этого деликатного взгляда, материнского взгляда растрепанной до слез женщины, пекущейся только о долгожданном счастье своего единственного сына. Франциске не составляло большого труда подавать себя как это долгожданное счастье.

— Может, вы желаете освежиться, Франциска? — спросила мать Хайнца низким протяжным голосом, неторопливо произнося слова, как говорят в Швейцарии, на том учтивом немецком, который показался Франциске и робким, и солидным одновременно. — Вот ваша комната. — И она открыла дверь рядом.

Комната была светлой, без книг, не считая нескольких объемистых томов по искусству, стоявших на резной полочке. Стенной шкаф тоже был резным, а на массивном изголовье деревянной кровати — единственной мебели в комнате — стоял букет желтых роз и радиоприемник. Еще один букет неярких цветов, выписанных с педантичной точностью, висел на стене: на скатерти, нарисованной с той же педантичностью, лежали беспорядочно разбросанные фрукты и зелень вокруг убитой цесарки. На безжизненных, негнущихся ногах видны были тщательно выписанные чешуйки и каждый коготок.

— Шикарно, — сказала Франциска, — просто шикарно.

Хайнц внес ее чемодан, поставил его в комнате. После этого застыл, скрестив руки за спиной.

— Располагайтесь, — сказала его мать. — И если вам еще что-то нужно, скажите нам без всякого стес-

нения. Вы можете убрать вещи вот сюда, в ящик. — Она имела в виду стенной шкаф. — Если ночь покажется вам прохладной, вы найдете в ящике еще одно одеяло, — приветливо продолжала мать Хайнца. — А когда вы будете готовы, мы рады будем видеть вас внизу, на чашке чая. Но, пожалуйста, не торопитесь. Вы так долго были в пути. Мы очень рады вам. Хайнц просто не мог дожидаться вашего приезда.

— Большое спасибо, — сказала Франциска.

Она осталась одна в комнате: в светлых сумерках два темных пятна — стенной шкаф с кроватью и картина на стене; светлая неподвижная полоска послепо-луденного солнца пробивалась сквозь окно и балкон-ную дверь, затянутые плотным тюлем. С дороги все тело Франциски гудело от усталости. Она оперлась ла-донью на резную полочку, та подалась под ее тяже-стью. Франциска тотчас же отдернула руку назад. Какое-то мгновение она растерянно смотрела на нее. Потом она включила приемник и сразу узнала голо-са — Дейв Ди, Дози, Бики, Мик и Тич. Франциска вы-ключила радио. Но, подумав, включила опять, чуть-чуть, едва слышно. Она подошла к окну, приоткрыла его. Горизонт был чист, видны были даже снежные вершины. Окно выходило на узкий балкон, выложен-ный мелкой плиткой, он шел и вдоль комнаты Хайнца. У той и другой балконной двери был вбит в стену алю-миниевый крюк, на том крюке висел темно-синий муж-ской костюм. С ее стороны крюк был свободен. Костюм слегка раскачивался, хотя она не почувствовала ни ма-лейшего дуновения ветерка. Франциска закрыла окно и вымыла лицо и руки. Под голос Дейва Ди она разо-брала свой чемодан. Ей не хотелось расставаться с приглушенными голосами, со звуками ударника, но она все же выключила радио, провела щеткой по воло-сам, подкрасила губы, протерла туалетной водой под мышками. Когда она открыла дверь, на нее пахнул знакомый запах, и она почувствовала себя увереннее.

Когда она вошла в гостиную, Хайнц встал. Его мать протянула к ней свою мягкую детскую руку и усадила ее в кресло. Франциска незаметно огляделась. Рояль. Конечно, этого следовало ожидать. Ковер на стене был, по-видимому, из шелка — голубого, серебри-сто-переливчатого шелка с гладким рисунком; желтые

лианы и райские птицы. Почерневшие доски с ликами святых висели в разных местах гостиной.

— Хайнц реставрирует их сам, — сказала его мать, — у него удивительно хорошо это получается. Не так ли, Хайнц?

Хайнц откашлялся.

— Вот только потемнение, — сказал он, — потемнение — очень коварная вещь.

— И золотой фон, — сказала мать. — Не так ли, Хайнц?

Хайнц опять откашлялся.

Были поданы маленькие, искусно разложенные бутерброды и пирог. Франциска вовремя догадалась, что пирог домашний и, следовательно, его нужно похвалить, но пирог и на самом деле был очень вкусным.

— Вкуснотица, — сказала она, — язык проглотишь.

На сей раз она не поняла, чем вызван кашель Хайнца. Зато его мать усердно заулыбалась ей.

— Да будет благословен ваш приход в этот дом, дорогое дитя, — сказала она, — оставайтесь здесь, пока вам не надоест.

— Пока у меня отпуск, — сказала Франциска.

— У вас каникулы, — продолжала мать Хайнца. — Как хорошо, не правда ли? Человеку так нужны эти минуты тишины и покоя. Работа с практикующим врачом, должно быть, связана с большим напряжением. Теперь, когда Хайнц изучает медицину, я могу себе это представить.

— Можно мне закурить? — спросила Франциска.

— У нас где-то была пепельница, — сказала женщина кротко. — Ты не вставай, Хайнц, побудь со своей дорогой певестой. Я быстрее найду сама.

Когда она вернулась назад с маленьким поддонцем в руках, пепел уже весь изогнулся, готовый рассыпаться и упасть. В гостиной царил безмолвие, и тогда Франциска сказала:

— Мы как раз говорили о письмах Хайнца. Мне нравятся они.

— Очень хорошо, — сказала его мать мягко. — Мне он тоже доставлял огромную радость своими письмами. Я каждый раз жила ими целую неделю, пока он был в Бохуме. Он и писал мне раз в неделю. Хайнц — хороший сын.

Франциска стала рассказывать о своих друзьях в Бохуме. О Ютте, с которой она ездилa последним летом на Нердерней, и о Блошке, которая носит очки и вообще ладный утенок, но свой парень в доску. А Блошкой ее прозвали потому, что она никогда спокойно не посидит на месте и вечно сучит ногами. И о Хайне, тоже из их компании, хотя он и тихоня, но вот странно, все разговоры почему-то всегда сводятся к Хайну. Просто непонятно, почему всех так занимает Хайн, но это — факт. Уве — тот совсем другой, собственно, страшный воображала со своим серебристым «порше», купленным в расерочку, но они все равно любят его. Он, в общем-то, совсем беспомощный.

— Беспомощные люди особенно нуждаются в любви, — вырвавшись сказала мать Хайнца.

— Да, он тоже свой, тоже из нашей компании, — заверила Франциска горячо. — И Мета тоже своя, хотя ей здорово не повезло. Она ждет ребенка. Двадцать третьего октября.

— О-о-о! — только и сказала мать Хайнца.

— Просчиталась, — продолжала Франциска. — Если будет девочка, ее счастье. Ведь это будут Весы. А Весы очень хорошо для девочки.

— А известно ли, кто отец? — спросила мать Хайнца встревоженно.

— Она не выдает его имени, — сказала Франциска. — Тут Мета железно стоит на своем. Говорит, он красавчик и шалопай. Подумаешь — красавчик. Ведь кое-что можно оставить и на потом, детей например. Я так считаю. Во всяком случае, это мое личное мнение.

— Многие молодые девушки сегодня слишком увлекаются внешностью молодого человека. Правда ведь, Хайнц? — сказала мать и налила еще чаю. — И потом оказываются несчастными. Очень многие утратили сегодня умение ценить настоящее в жизни. И сплошь и рядом за этим стоит неблагополучная семья.

— Только не у Карлхайнца, — сказала Франциска, — там брак родителей функционирует без сучка и задоринки, а Карлхайнц довольно-таки противная личность. В своих цветастых джинсах. Тот еще типчик. Да, да, Карлхайнц — это еще тот субъект, — засмея-

лась Франциска и взяла новую сигарету. Прикуривая, она говорила и задула пламя, но сигарета уже разгорелась: — А потому Карлхайнц и не совсем свой.

Потом они заговорили о Риме. Хайнц и его мать побывали там в марте: туда нужно ездить, именно в марте, когда еще не так много народу и Ренессанс, источник особое очарование.

— Как-нибудь я тоже туда махну, — сказала Франциска, — но не раньше, чем мне будет двадцать. Уж эти мне полупаки итальянцы. Ведь одной просто нельзя показаться на улице.

— До тех пор могут произойти изменения, детка, — сказала мать Хайнца и многозначительно отделила вилочкой кусочек пирога. Проглотив его, она спросила: — Вам уже доводилось бывать в городе, Франциска?

— В каком, в Риме? — спросила Франциска.

— Нет, у нас.

— Ах, здесь, — сказала она, — в Цюрихе. Нет, до сегодняшнего дня нет, к сожалению.

— Хайнц хочет вам так много всего показать, — сказала мать проникновенно.

После ужина, когда они немножко посидели и на всякий случай еще поговорили о Риме, мать Хайнца предложила Франциске перейти на «ты». Похоже, здесь не тянули с этим делом. Хайнц принес бутылку шампанского. Он не совсем удачно открыл ее — пробка неожиданно вылетела раньше времени. Хайнц, не подняв бутылку горлышком вверх и с ужасом глядя на пенящуюся струю, и думать забыл о бокалах; смеясь, они протягивали их с двух сторон. Мать Хайнца быстро принесла тряпку, чтобы «поправить беду»; им хватило еще шампанского, чтобы услышать звон бокалов. У Франциски есть мамочка, теперь у нее будет еще мама: — с ударением на первом слоге, по-домашнему. На Франциске было полосатое платье, то самое, что и на фотографии.

— Он не всегда такой неловкий. Так ведь, Хайнц? — сказала мать. — Хирургу это вовсе ни к чему. Давайте подождем зажигать свет. Наступающие сумерки создают особое настроение. Как вы находите, вы оба?..

Прежде чем надеть пижаму, она тщательно вымы-

лась. Принимать ванну в первый же вечер ей не хотелось, хотя мама и предложила ей. Она не знала, как долго можно находиться в ванной по здешним обычаям. Наносить крем она тоже не стала, зато слегка надушилась. Может, Хайнц купит ей духи — про себя она решила попросить его завтра об этом. В этом доме принято баловать друг друга — это благородно, а она теперь тоже своя. От этой мысли ей захотелось вдруг — она сама не знала почему — есть. Она тихонечко встала, открыла шкаф и достала оттуда начатую в дороге плитку шоколада. Она проглотила две дольки, потом оглянулась на балконную дверь, отломилла еще одну и быстро закрыла опять дверцу шкафа. Жуя, она выдавливала зубную пасту на щетку. За этот вечер она чистила зубы уже в третий раз. Открыв рот, она внимательно осмотрела зубы, потом взбила на затылке волосы. На всякий случай она взяла в постель пульверизатор — освежитель для полости рта. Какое-то время она лежала при полном свете, закинув руки за голову. Потом взяла с полки альбом с репродукциями — «Айкенс оф Раша»¹ — прочла она. Текст был на английском, ей было трудно следить за последовательным изложением материала. Лица с запавшими щеками — такие же, как на стенах в гостиной, — не нравились ей, и с золотым фоном реставраторы явно не справились — это же чистая охра, за кого они ее принимают. Она поглядела на часы — одиннадцать, уже четверть часа она разглядывает картинки. По ту сторону балкона — мертвая тишина; в квартире — ни звука. Только иногда сквозь притворенную балконную дверь доносился шорох проносящейся мимо машины. Воздух благоухал, напоенный запахом незнакомого декоративного кустарника. Она вспомнила серебристый «порше» Уве: модный оттенок назывался «металлик». Потом она встала во второй раз и достала из сумки письма Хайнца. Сложив их стопочкой около своей подушки, она убрала на полку альбом с русскими иконами. Пусть он ее застанет так. Она лежала довольно долго, подложив под голову руку. Потом все-таки взяла одно из писем, попробовала его читать, строчку за строчкой, ничего не пропуская, как наставление. Ее

¹ Icons of Russia (англ.) — русские иконы.

голова клонилась все ниже и ниже. Наконец она так и застыла, не перевернув даже первой страницы. Свет продолжал гореть, он горел всю ночь до утра.

— Отлично, — сказала она и поболтала ногой.

Он спросил ее, понравился ли ей краеведческий музей. С точки зрения техники демонстрации экспонатов им удалось найти много нового, например в доисторическом отделе. Обработанные камни, обточенные предметы домашней утвари, браслеты, урны воспринимаются как увеличенные под толщей стекла. Сквозь густую зелень каштанов, укрывавшую сквер, где они сидели, солнце пробивалось только прыгающими пятнами, на лицах прохожих играли яркие зеленые блики, словно отражение дрожащей воды в освещенном аквариуме; парниковая влажность напоила сочные краски цветов — канн, сальвий, левкоев.

— Ясно, — сказала Франсиска. — Я уже такое видала, в Мюнхене, там все пастоящее.

Некоторое время они молчали. Потом она поскребла его по плечу. Он слабо улыбнулся в ответ.

— Удивительно, — сказал он, — у нас в Цюрихе так: не хочешь встретить знакомых, пойди в краеведческий музей.

— А почему ты не хочешь ни с кем встретиться? — спросила она. — Я еще не видела никого из твоих друзей.

Маленькая девочка показала на них пальцем и затянула: «Э-э-э... Тили-тили-тесто... Э-э-э...» Мать взяла ее за руку и одернула, при этом она, как бы извиняясь, улыбнулась. Ей пришлось, однако, с силой потянуть девочку дальше, так как та уперлась и тянула свою дразнилку, не замолкая ни на секунду, — кто кого, своего рода тест на выдержку. Удаляющаяся мордашка с высунутым языком, вся в светло-зеленых пятнах, все время оборачивалась назад и беспрестанно разевала рот. Упрямое «Э-э-э...» было слышно почти до самой трамвайной остановки — там маленькая иерихонская труба постепенно затихла. Хайнц смотрел девочке вслед.

— У Рольфа практика в Неслау, — сказал он, — а Марсель уехал к себе домой. В Грецию.

— А кто еще?

— Еще? — спросил он. — А больше у меня никого нет.

— Ага, — кивнула она и посмотрела на него с вниманием, почти с уважением.

— Но это самые хорошие друзья, Рольф и тот другой? — спросила она.

— Я думаю, да, — сказал он. — Рольф, чтобы поговорить, а Марсель, чтобы... чтобы помолчать.

Она опять кивнула, несколько раз подряд.

— Твоя мать очень привязана к тебе, да? — спросила она.

— Как всякая другая, — сказал он.

— Ясно, — сказала она.

Они посидели еще немного.

— Давай пойдем, — сказал он и попытался встать.

— Сейчас, — сказала она.

Он посмотрел на нее.

— Сначала я хочу знать, о чем ты думаешь.

Он заморгал; уже сколько раз Франциске казалось, что, глядя ей в лицо, он не решается поднять свой взгляд выше ее подбородка.

— Ты о чем-то думаешь, — упорно настаивала она.

— Сейчас нет, — сказал он. — Определенно нет.

— Тогда до этого.

— Когда девочка дразнила?

— Хотя бы.

Он сел поудобнее.

— Вот видишь, — сказала она, — ты что-то подумал.

— Нет, — сказал он.

— У тебя много было подружек до меня?

Смотри-ка, он по-настоящему краснеет, просто весь заливадается краской. Ну ничего не стоит поставить его в тупик.

— Несколько, — сказал он наконец. — Две или три. Три, — уточнил он решительно и закусил губу. — Я как-то не думал так... Я не могу думать об этом в цифрах.

— Они были хорошенькие?

— Дело ведь не столько в этом, сколько... Мне они казались такими.

— А в чем все-таки дело?

Он молчал.

— И одна по-настоящему? — спросила она.

— Что? — переспросил он, но она видела по нему, что он сразу понял. Кончик его носа побелел. Ногти тоже.

— Была ли у тебя подружка по-настоящему? — спросила она.

— Нет, — ответил он совершенно спокойно. Руки его вдруг вытянулись на коленях.

— Ага, — сказала она опять, задумчиво и уважительно, как школьница.

— Видишь скамейку на той стороне? — спросил он.

— Ту, на которой сидят две бабули?

— Один австриец заколот там молодого человека. Ударом в спину. Молодой человек сидел на той скамейке со своей девушкой.

— Просто так? — спросила она с интересом.

— Мотивы неизвестны.

— Псих, — сказала она. — Бывают же такие типы. Пошли.

Было уже поздно, когда они вернулись домой. Они ходили еще в театр.

— Ты нас ждешь, мама? — спросила Франциска, расправляя плац на вешалке. Ей и в голову не пришло, что Хайнц мог бы помочь ей раздеться.

— Но вовсе не потому, что жду ваших рассказов, — сказала мама. На ней было стеганое кимоно фиолетовых тонов, она выглядела в нем довольно молодо, из широких рукавов выглядывали ее тонкие руки. — Я только приготовила вам кое-что на ужин.

— Мы шли парком, — рассказывала Франциска, начав есть. — Какой чудесный воздух.

— Вы хорошо дышали? Полной грудью? — спросила мама, засовывая руки в широкие рукава. — Но, надеюсь, не ртом? Ночной воздух опасен.

— Сейчас июль, мама, — сказал Хайнц сдержанно.

— Ты врач, — согласилась мама, — тебе виднее.

— А вам бы хотелось сейчас оказаться в Риме, да? — спросила Франциска.

— О чем ты говоришь, дитя, — ответила мама, — в такую-то жару...

— Да еще когда я здесь, — добавила Франциска.

— Вот именно, — сказала мама, бросив на нее быстрый взгляд. Потом она встала. — Но вам хоть было смешно? — спросила она напоследок.

— Это как? — не поняла Франциска и посмотрела на Хайнца.

— Мама имеет в виду, было ли нам весело, — сказал Хайнец с насмешкой.

— Ну еще бы! — засмеялась Франциска. — Классная опера.

— Дирижировал Кнаппертсбуш, — сказал Хайнец. — Саломея та же, что в прошлый раз. А Йоханаана пел О'Хара.

— О! — сказала мама понимающе. — Но вы, должно быть, очень устали. Пейте чай, только, пожалуйста, не торопитесь. Желаю вам обоим приятной ночи.

Когда она вышла, Франциска спросила:

— Это как понять: желаю вам обоим приятной ночи?

— Так у нас говорят, — ответил Хайнец, он больше не краснел. — Это абсолютно ничего не значит.

Она опять кивнула, осторожно.

— Будь то Метта, это тоже бы ничего не значило, — сказала она медленно. — Метта может такое сказать, что просто ахнешь, ушам не верится: вот это да! Может, я ослышалась? Во дает девчонка! А на самом деле она вовсе не имеет в виду ничего такого. По сути, Метта — невинный ягненок, если хочешь знать, настоящий ангел. По сути. И свой парень. Нет, нет, Метта — что надо.

— Метта, — сказал он. — До сих пор ее звали Меттой.

— Нет, ты ошибаешься, — сказала Франциска, — тут ты ошибаешься, Хайнец. Метта — это совсем другая. У Метты веснушки, и она страдает комплексом, кроме того, она дружит с Хайном, только вот что-то у них не ладится с некоторыми пор.

— Мета — свой парень, а Метта — не свой! — сказал он резко.

— Так, пожалуй, сказать нельзя, — возразила она задумчиво, — это все сложнее. Метта тоже своя, толь-

ко по-другому. Она немножко похожа на твою маму. В ней тоже есть чуть-чуть от мадонны.

— Пожалуйста, не впутывай сюда мою маму, — тихо сказал Хайнц.

Потом он встал и вышел.

Когда на следующий день она завтракала с мамой — та была какая-то отсутствующая, — Хайнца уже не было; мама сказала: он в институте. Обедать он тоже не пришел, перед ужином он извинился по телефону, сказав, что его не будет.

День был чудесный. Открыв балконную дверь, Франциска загорала в шезлонге, она подставляла солнцу то руки, то ноги и очень осторожно лицо. После обеда она спала. Поздно вечером ей показалось, она слышит за дверью приглушенные голоса. Но ее утомило солнце, и у нее не было сил долго и напряженно вслушиваться.

Весь следующий день она листала полугодовую подшивку швейцарского журнала для женщин, держа все время на солнце ноги. Хайнц не показывался и сегодня. Зато мама вышла к ней на узкий балкон.

— Не хочешь ли ты написать письмо, Франциска? — спросила она.

— Блестящая идея, — ответила та. — Вопрос только — кому?

— Ну... — сказала мама. — Я думаю, твоей маме. Она наверняка беспокоится о тебе.

— Даже ничуть, — сказала Франциска, щурясь и тщетно пытаясь посмотреть на нее; солнце слепило ей глаза. — О'кей, можно и написать.

— Я принесу тебе бумагу, — сказала мама.

— Не обязательно, — сказала Франциска. — Достаточно и открытки.

— Я попрошу Хайнца, чтобы он принес домой хорошие открытки, — сказала мама очень серьезно.

Франциска продолжала листать журналы. Вечером она нашла на своем ночном столике пять открыток с видами Швейцарии. Культурно-исторические памятники — кафедральный собор Гроссмюнстер, деталь портала, кованые чугунные решетчатые ворота на улице Ренвег со старой гравюры, так как их давно уже нет.

И немножко природы — вид на Альпы с лебедями на переднем плане. Ни одной цветной открытки среди них не было.

Пока впитывался крем на ее лице, она написала на обороте Гроссмюнстера: «Дорогая мамочка! Я благополучно доехала и великолепно отдыхаю. За все время здесь только один раз прошел небольшой дождь. Так что загар — не проблема. Спасибо за совет по поводу «Амбры-69», она оправдывает себя. В Швейцарии, между прочим, все лучше и красивее. Обнимаю, целую, всем привет, Хельмуту тоже. Твоя Франциска».

На открытке с лебедями она написала: «Дорогая Ютта! Здесь великолепно! Я каждый день езжу с Хайнцем в шикарной спортивной «симке». Он только очень занят из-за своей практики. На небе ни облачка. Интересно, у вас так же жарко или нет? Цюрих меньше Бохума, а мартини пьют прямо на улице. Я видела желтое платье с темными цветами и расклешенной юбкой. Цены дикие. Но Хайнц обещал купить. Об остальном расскажу, когда приеду. Привет Мете, Йохену и всей клике. Твоя Ф».

— Может, Хайнц возьмет их завтра утром, Франциска? — спросила мама.

— Я сама их опущу, — сказала та, — будет лучше, если я сделаю это сама. Только у меня нет марок.

Мама принесла ей и марки.

Теперь по вечерам тоже было тихо. Похоже, что Хайнц дома больше не бывал — переехал на квартиру своего друга. Вероятно, того, с французским именем, родина которого в Греции. Это все значительно упрощало. После трапез с мамой Франциска тотчас же поднималась к себе в комнату. Ведь у мамы была машина для мытья посуды. Во второй половине дня мама почти всегда уходила из дому — возможно, чтобы встретиться с Хайнцем, и тогда Франциска оставалась совершенно одна в пустой квартире, у нее было достаточно времени, чтобы как следует рассмотреть мебель, портьеры, картины и шелковый гобелен. Кто-то в родне Хайнца, вероятно, был скульптором. Во всяком случае, кругом, по всей квартире, стояли в самых разных местах — на рояле, на книжных полках — гипсовые

головки. Собственно, везде была одна и та же головка — детская, возможно даже маленького Хайнца. Головка бойкого матросика на круглой шее и с аккуратным пробором, матросик весело смотрел в радужную даль... Возможно, Франциска потому пришла в голову мысль насчет матросика, что вокруг шеи лежал матросский воротник. Может, тетка Хайнца лезла эти головы или сама мама? Франциска решила спросить ее об этом. Как-то ей снова потребовались марки, они лежали в маленьком застекленном шкафчике около рояля, но ключа не было. Это не произвело на Франциску ошеломляющего впечатления. Она спокойно улеглась загорать, на сей раз в бикини. Разглядывая себя в зеркале, она пришла к выводу, что выглядит так, словно отдыхала в Сен-Тропезе. Лифчик она не расстегнула — над ней было еще два балкона, а мало ли всяких психов, которые любят подглядывать в щелки.

Время от времени мама приносила ей тарелку со сладостями и печеньем. Почему бы ей не посидеть около нее, ну просто так? Ах да, ведь у мамы есть свой, даже более просторный балкон.

— Не беспокоится ли о тебе твоя мать, Франциска?

Франциска допила апельсиновый сок. Потом сказала:

— Ерунда. Конечно, нет. С чего бы это, ведь я же в отпуске.

Мама унесла стакан. Потом снова вернулась на балкон.

— Твоя мать хотя бы знает, где ты?

«Сейчас она еще спросит: есть ли у тебя вообще мать», — подумала про себя Франциска.

Прищурясь, она посмотрела в сторону гор.

— Само собой, — сказала она. — Ведь я же послала ей открытку.

На другой день мама была настроена приветливей.

— Вам пришлось много пережить, — сказала она. — Не так ли?

На Франциске сегодня было ее зеленое пляжное платье и шорты, юбочку она откинула. Она решила, что теперь ей уже можно появляться в ярком зеленом

наряде — ноги ее хорошо загорели. Она опять подставила солнцу лицо, запрокинув голову. Сквозь прикрытые веки слепило яркое солнце, но терпеть было можно. Она ненавидела эти отвратительные белые круги вокруг глаз от темных очков.

— Мне нет, — ответила она, не открывая глаз.

— Не знаю... — сказала мама. — Но это сидит в вас так глубоко. Не знаю, как это объяснить?.. Такое чувство, словно для нормальной жизни дальше требуется хирургическое вмешательство. Полное равнодушие к другим людям, к их чувствам... Это столь типично для послевоенного поколения. Не правда ли? В вас много, очень много сломано и разрушено.

— Возможно, — сказала Франциска. Она не обращала никакого внимания на эти напыщенные заумные речи. Ее беспокоило, что она поправилась. Это заметно по платьям, да и здесь, в шезлонге, она словно растеклась в нем. «Ерунда, — подумала она, — я ведь в отпуске, и, кроме того, здесь все равно все на мертвой точке. А дома я опять приведу себя в норму».

— Хайнцу нужно сейчас поберечь себя, — сказала мама, — после такого трудного экзамена. У него всегда было не слишком крепкое здоровье.

— Я так и думала, — сказала Франциска.

— Хайнц, — сказала мама, — это такое существо, которое нуждается в постоянной любви, большой любви, чуткости и взаимопонимании. Притом — в бескорыстной любви.

— Ты, конечно, знаешь его гораздо дольше меня, — сказала Франциска. — Собственно, он здесь или нет?

— Нет, — тихо сказала мама, — он считает, что ничего хорошего сейчас из этого получиться не может.

Ну тогда Франциска спокойно могла снять лифчик. Что она и сделала, подумав, психи, а ну их... Она терпеть не могла на спине и впереди идиотских белых полосок.

— Ты не возражаешь? — спросила она маму.

— Я могу показать тебе, как пройти на городской пляж, — ответила та. — Ты наверняка найдешь там подходящих себе людей.

— Спасибо, — сказала Франциска недоверчиво, — мне и здесь неплохо.

Теперь мама почти перестала придавать значение завтракам, обедам и ужинам. Во время еды она читала газеты. На столе стояла только минеральная вода. Но даже гробовое молчание мало смущало Франциску.

— Расскажи мне что-нибудь про Рим, — сказала она однажды.

Мама ничего не ответила ей. Потом она произнесла:

— Завтра мы с Хайнцем уедем на неделю в Энгадин, должен же он хоть что-то получить от своих каникул.

— Отлично, — сказала Франциска. — К сожалению, я не смогу поехать с вами. Я тоже еду.

— Я спрашивала госпожу доктор Фрелих, — сказала мама. — Если ты все еще хочешь остаться в Швейцарии на год, то ей как раз нужна сейчас помощница по дому.

— А что, служанка сбежала от нее? — спросила Франциска. — Я видела, как она шла. — С балкона хорошо просматривалась кухня госпожи доктор Фрелих. Она была безукоризненно оборудована.

— Ты умеешь варить обед? — спросила мама.

— Это теперь-то, когда все можно купить готовым? — рассмеялась Франциска.

— Умеешь ли ты шить? — спросила мама.

Франциска прищурилась на солнце. Она почувствовала, как вся напружинилась от нетерпения.

— Умеешь ли ты гладить? Чинить? Штопать? — спрашивала мама все более высоким голосом.

— Завтра я, к сожалению, уезжаю, — сказала Франциска. — Поездом девять двадцать. Без остановки до Базеля.

Мама подошла к краю балкона, она ловила ртом воздух. Франциска видела краем глаза, как тряслась ее голова.

— У меня есть одно желание, — сказала Франциска.

— А именно? — спросила мама, не глядя на нее.

— Я хочу одну «айкен», — сказала Франциска.

— Одну — что? — резко спросила мама, повернувшись к ней лицом.

— Одну «айкен», — повторила Франциска неуверенно.

— Что это за слово? Откуда оно у тебя? — спросила мама.

— Из книжки, — ответила Франциска. — Из английской книжки с картинками.

Мама опять отвернулась. Ее голова затряслась еще сильнее, казалось, она вообще перестала дышать.

— Икону, — сказала она. — Икона — произведение искусства, очень редкая вещь.

— Это мне ясно, — сказала Франциска, — и завтра я уеду.

— Мне нужно это обсудить с Хайнцем, — сказала мама и ушла с балкона.

— Не везете ли вы предметы, с которых взимается таможенная пошлина? — спросил немецкий чиновник на границе.

Франциска взглянула на него, оторвавшись от книги, которую купила на вокзале в Цюрихе. На обложке стояло — «Клика».

— Нет, — сказала она, — я была в Швейцарии в гостях. И очень недолго.

Таможенник пошел дальше. Лишь после того, как поезд уже с полчаса стучал колесами по Рейнской равнине, она спjala с полки чемодан, открыла его и вытащила из-под платьев небольшой плоский сверток. Из многочисленных оберток она извлекла темную деревянную доску, на которой едва проступали черты бородатого мужчины, справа от себя он держал перед лицом два поднятых пальца. Оди широко раскрытый глаз был слегка поцарапан. По углам доски еще сохранились остатки золота. Она разглядывала изображение. Дома у нее было немного бронзовой краски, примерно с полбаночки, — осталось от рождественских орехов, она красила их на елку. А рамочка тоже будет не бог весть сколько стоить.

— Сойдет, — сказала она и сунула доску, кое-как завернув ее, назад в чемодан.

Хлесткие прерывистые струи дождя метались по стеклу. Ветер с силой бросал в стекло все новые и новые дождевые пряди; горы по краю равнины уже были плохо видны. В Швейцарии у Франциски был лишь один-единственный дождливый день.

Госпоже Циннеман не в чем было себя упрекнуть. Что она такого сказала? Разве что эта статуэтка не самых лучших времен — но это и так было видно, в этом нетрудно было убедиться. Нагая особа в манерной позе, с неряшливо, но густо намазанным фарфоровым ртом и ангельским взором, возведенным к небу, правда несколько подслеповатая на левый глаз, ну, впрочем, ее не для того создавали, чтобы смотреть на ее лицо. Верхняя часть фигурки не отличалась безукоризненностью линий, что с лихвой восполнялось в прелестях нижней половины. Менее терпимая женщина, чем госпожа Циннеман, не пошла бы в своем любопытстве дальше бедер. Но госпожа Циннеман старалась смотреть только на материал, и она может поклясться, что была даже слегка тронута тем, что увидела. Материал не играл. Ну что может быть неподатливее ломкого фарфора. Его поблескивающая холодом синева проступала везде сквозь цветовую гамму глазури — даже сквозь нежно-розовые тона паха, переходившие в светло-каштановую окраску растительности, — ни следа мягкости и податливости в этом не по-земному блестящем женском теле. Колер должен был испытывать поистине муки ада. В чем-то сказывался, конечно, вкус католика. Статуэтка живо напомнила госпоже Циннеман подобострастные позы святых в католических храмах — та же безвкусица, тот же взгляд, что и у возносящихся мучеников, — своего рода утеха для маленьких людей. Одной рукой эта особа упиралась в бедро, другая, с которой соскользнул рукав, поддерживала запрокинутую в хмельном угаре голову. Судите сами — чужеродное тело в этом доме. Особенно здесь, в комнате для гостей. В прежние годы Циннеманы принимали в ней самых дорогих гостей,

например Лизетту — сестру госпожи Циннеман, когда она приезжала на две-три недели из Восточной Пруссии и рассказывала о католиках их деревни — их было трое, но они создавали беспокойство за десятерых. Или коллегу ее мужа — однажды он опоздал на последний поезд и, еще не остыв от теологического диспута и смущаясь из-за того, что ему придется воспользоваться одной из пижам господина декана, вынужден был отправиться в сопровождении госпожи хозяйки в тихую комнату для гостей, окна которой выходили на восток и где утром его без постороннего содействия должно было разбудить раннее солнце, предупредила она его с лукавой улыбкой. Это была простенькая и чистенькая комнатка, настоящая келья без отопления и водопровода, и расположена она была так, что тесное общение с хозяевами дома было неизбежно, в чем и состояла ее главная прелесть; именно поэтому госпожа Циннеман, став женой декана, и воздержалась от честолюбивого желания обставить ее более презентабельно. Помимо кровати и маленького дамского письменного столика, ее единственными украшениями были старинная гравюра с изображением города-крепости Торн¹ да местами потускневшее, все в мутных пятнах зеркало в богатой раме, на которой висел мешочек с лавандой. В годы войны никто не приезжал. Лизетта — слишком щепетильная, чтобы протискиваться на последний пароход, покидавший Кёнигсберг, — исчезла за цепью русских танков, зажавших Германию в тиски; потом пришел мир, которого так горячо жаждали Циннеманы, но еще раньше пришли квартиранты, мешавшие на какое-то время миру в их доме. Декан не был жестоким человеком, но он «как раз» работал (что было одним из его козырных словечек) над своей «Мирской теологией», поддерживавшей его в течение всех лет засилья нездорового образа мыслей в самом высоком смысле слова, и можно понять, что он не хотел, чтобы «как раз» во время его работы над критическим третьим томом ему мешал крик младенца, которым грозила разродиться молодая беженка в этом или следующем месяце. Ее раздувшийся живот — словно не было повального голода — начинался прямо от ост-

¹ Имеется в виду польский город Торунь.

ро торчавших ключиц и достигал таких размеров, что вынуждал господина декана беспрестанно думать о двойственной натуре человека, с которой он разделался еще в первом томе.

И вот тогда, как обычно раньше других, госпожа деканша догадалась — всегда ведь так: ну, госпожа Циннеман, ну пожалуйста! — что будущей матери сподручнее будет разрешиться от бремени в сельской местности, где больше воздуха и даже удобств, чем в ее скромной гостевой каморке. К тому же в Вааке, где духовным пастырем был ученик ее мужа, было лучше с питанием; словом, если в течение многих предшествующих лет в доме шли на жертву, только чтобы не слышать криков собственного ребенка, то уж совсем не ради того, чтобы супружеской чете Циннеманов «как раз» в их зрелые годы пришлось слушать крики чужого. Собственно, Колеры — так звали эту парочку — привыкли, как и все беженцы, к переселениям; они ведь были из Силезии, где положение никогда не было стабильным, католики, но в остальном вполне приличные молодые люди, правда, женщина почти никогда не открывала рта, что с самого начала не нравилось госпоже Циннеман. Словом, когда в августе они покинули наконец-то дом господина декана, не было обронено ни единого громкого слова, да и не такой уж тяжелой была их ноша. Ну беременная, конечно, но — бог мой! — надо же все-таки хоть чуть-чуть думать, когда производить на свет ребенка, и потом, в конце концов, дело вовсе не выглядело так, будто бы госпожа Циннеман умыла руки. Напротив, ее не остановила даже дальняя дорога, она отправилась посмотреть, как обстоят дела на хуторе, где Колер помогал убирать урожай, чтобы удостовериться лично, что молодые люди устроены вполне по-человечески. Маленький Гуго — многофунтовое дитя — лежал тогда уже в люльке, настоящей добротной крестьянской люльке, о которой в А. не могло быть и речи; это почти напоминало библейский сюжет, ведь тяжелые времена всегда имеют свою положительную сторону: они выявляют чистые, не замутненные грехом взаимоотношения людей, заставляя их самих образумиться.

Нет большего доказательства этому, чем успех «Мирской теологии» Циннемана, нашедшей прямой

путь к душам и совести опустошенных современников, во всяком случае тех, которые сумели возвыситься над чувством голода. Скромным отблеском славы, осветившим тихий домик на берегу речки, автор мог наслаждаться по воле божьей еще целое десятилетие. Вскоре он стал читать курс в университете, к чему долго стремился, а когда его хватил удар, на что была воля божья, прямо на ступеньках профессорской кафедры, госпожа Циннеман была еще женщиной в расцвете лет и могла рассчитывать на долгую и активную вдовью долю. Сначала она подумывала о том, чтобы сократить расходы по дому, но потом не нашла в себе достаточно сил, чтобы отказаться от стен, с коими было связано так много мирских и духовных воспоминаний, — нужды в то время уже не было, к тому же у госпожи Циннеман была служанка по имени Вольтер, которая приходила два раза в неделю, частенько забывала, правда, дистанцию, разделявшую их, но зато легко справлялась с любым полом и была умеренна в своих денежных притязаниях. Да и спрос на гостевую комнату как-то уменьшился по сравнению с тем, что было раньше, когда даже заморские теологи то и дело находили «прелестными» дорогу в дом господина декана и спартанское пристанище с окнами на восток; перед тем, как лечь спать — они привозили свои пижамы, — они подолгу рассматривали старинную гравюру с изображенным на ней восточным городом, рожденным благодаря немецкому трудолюбию и теперь, пожалуй, уплывшим от немцев, городом, опоясанным стенами и недосыгаемым, как священный Иерусалим. В начале шестидесятых годов госпожа Циннеман заперла гостевую комнату. О Колерах — беженцах — за все это время она больше ничего не слышала.

И только полгода назад... Известив ее предварительно о своем приезде сбивчивым письмом, они появились однажды ранним весенним утром в ее гостиной и привезли с собой сына Гуго — рослого молодого человека, у которого что-то было не в порядке с лицом и который не знал, куда деть свои руки. Госпожа Циннеман, вовсе не намеревавшаяся скрывать свое удивление по поводу создавшейся ситуации — она выражала это своей позой, — предоставила им возможность рассказать обо всем подробно.

Как только Колеры опять смогли стронуться с места, они перебрались из Вааке, где им очень даже нравилась их жизнь, в районный центр Ц.; тут Колеру улыбнулось место на небольшом кирпичном заводике. Господин Колер, будучи даже простым рабочим—сегодня он стал уже доверенным лицом руководства предприятия, — делал все, что было в его силах. Он содействовал тому, чтобы рабочие прониклись пониманием, в чем «соль экономии» — его слова, — он старался до тех пор, пока на предприятии не установилась чертовски спокойная рабочая обстановка, неуязвимая для нападков, так сказать, политического толка. При этом они отказались, в чем, безусловно, немалая заслуга Колера, от всяких организаций в строгом смысле слова, так как любое членство только бы урезало свободу совести простого рабочего; они избрали более свободную организационную форму—кружок или объединение, — которая способствует свободным дискуссиям. Колер поправился и сказал: беседам, — например, о предметах высокой материи, что выходит за пределы грубой материальной заинтересованности, к каковым он относил, если уж приводить примеры, «Мирскую теологию» покойного господина декана. Да, именно за ней проводил он свои свободные вечера, а не у телевизора или за другим, еще более пагубным занятием; конечно, господину декану следовало бы учесть кругозор простых рабочих, но самое чудесное в «Мирской теологии» «как раз» и есть то, что благодаря ее «экономичному», каждому вдумчивому современнику доступному языку все это, оказывается, возможно понять или, если он смеет так сказать, не совсем невозможно.

Колер говорил, госпожа Циннеман кивала, выпрямляясь в своем кресле, и села наконец поудобнее. Она была хорошим знатоком людей, от нее не могло ускользнуть, что слова Колера были направлены на то, чтобы сделать ей приятное, и, по всей вероятности, как всегда у католиков, преследовали какую-то определенную цель; но даже и в этом случае они свидетельствовали об образе жизни, ставшем, к сожалению, редкостью среди ему подобных. Поэтому она спокойно пропускала мимо ушей его «экономичный», ни разу не поправив его — рабочий человек тоже имеет право на человеческое достоинство. На его слова, что творения ее

мужа якобы легкодоступны — явное недоразумение, — можно было и не обращать внимания, тем более что труды его все-таки приносили плоды. Солнце пригревало сквозь отмытые до блеска окна, за которыми проплывала нежная небесная лазурь, но печь еще надо было протапливать — проводить центральное отопление в такое старое здание не имело смысла. Колер даже отказался от черри-вишневого ликера, — к которому благоволила сама госпожа Циннеман и никого не упрекнула бы за эту слабость, он шумно дул на свой чай и уминал слоеное печенье, не забывая поминутно вытирать рот и удостоверяться, что на губах его не висят крошки. Он много говорил, может, потому, что жена его много молчала. Она просто смотрела в пространство, что не нравилось госпоже Циннеман еще тогда, когда приходилось мириться с ее состоянием. Сейчас она сидела на софе; растопырив ноги, как вряд ли подобает сидеть в ее возрасте, почти ничего не ела — сын тоже почти ничего не ел — и время от времени бросала исподлобья на мужа взгляд, который показался госпоже Циннеман — тогда она еще не знала всей страшной тайны — мрачным. Гуго унаследовал этот взгляд: первый раз госпожа Циннеман почувствовала его на себе, когда попыталась совершенно спокойно поговорить с ним о его фарфоровой дамочке... Но предвидеть дальнейшее тогда она не могла.

Старший Колер, словно пытаясь смягчить злой взгляд жены, начал рассказывать, все еще чавкая слоеным печеньем, о постигших его разочарованиях, без которых не обошлась ни его миролюбивая политика, ни его многострадальная жизнь. Правда, он продвинулся до старшего рабочего, но не дальше, в то время как те, кто роптал — неисправимые бунтари, — поднялись, обойдя его, вверх по служебной лестнице, конечно при условии — Колер не мог не признать этого, — если они прекращали роптать; суть человеческой природы позволяет делать такие повороты, и руководство завода Колер, в общем-то, тоже понимает, и тем не менее человеку более тонкой природы нелегко с этим смириться. У госпожи Колер был такой вид, словно она готова была пожертвовать тонкими чувствами своего мужа ради куска хлеба с маслом, но, когда у того с языка вдруг слетело «его девочка», госпожу Циннеман испугал ее

истощный крик: «Никаких девочек!», она прижала колени к подбородку и вцепилась худыми пальцами в подлокотники. Господин Колер с печальной улыбкой на губах извинился за ее странное поведение: его жена много пережила; когда же она закричала во второй раз, он поднялся, ударил ее два-три раза кулаком по голове и спокойно сказал, без всякой нежности: да, да, она и есть его девочка; тогда она успокоилась и опустила ноги. Колер опять сел на свое место и вытащил из кармана фотографию — оказывается, у них был еще один ребенок, вот эта девочка, которая до восьми лет подавала большие надежды, потом ее сбила спортивная машина, и она получила черепную травму, теперь у нее не в порядке мозги, и она на всю жизнь останется ребенком; госпожа Циннеман разглядывала тупое, но миловидное лицо, на которое спадал красный бант. Колерам не оставалось ничего другого, как только удвоить свою любовь к ребенку, ведь тогда, не правда ли, сказал отец, пряча фотографию в карман, это имело какой-то смысл.

Наконец он заговорил о сыне, и госпожа Циннеман, несколько не размягченная обилием страданий, выпавших на долю Колера, которому она не очень-то доверяла, стала сравнивать сидящего здесь Гуго, наблюдая за ним уголком глаза, с тем портретом, который рисовал охрипший от усердия отец. Госпожа деканша, как добрая фея, качала его колыбель. А как же? Разве папаша Колер мог забыть эту трогательную картину! Он стал развивать свою мысль дальше, будто эта ранняя благотворительная миссия как-то предопределила путь, который Гуго проделал с тех пор. Проделал, разумеется. Ему, конечно, как всякому ребенку простого рабочего, ставили палки в колеса, затирали в угол, но именно в углу он и получил то, что он знал. Лица духовного звания помогали ему продвинуться вперед, сначала лютеранин, потом, когда тот умер, католик; а кто же еще мог бы проверить толкового парнишку насчет тех словечек — латинских и греческих, — не они же, простые рабочие. Они могли только молиться за него да платить. И вот теперь они привезли его, еще тепленького после окончания школы, в А., чтобы найти ему комнату, потому что он хочет изучать право. Комнату у хороших, надежных людей, чтобы они —

и при этих словах папа Колер потушил свой взор — могли спокойно уехать домой. Он кивал с мрачной миной на лице, но жена вдруг прервала его. «Никаких девочек!» — закричала она. Нет, сказал Колер и бросил на нее быстрый взгляд, девочек, разумеется, у Гуго не было. И в будущем их у него тоже не будет, за это отец ручается. Госпожа Циннеман более пристально посмотрела на Гуго.

Он был смущен, но это не мешало госпоже Циннеман оценить его трезво. Похоже, он мог бы пригодиться в случае нужды, например выполнить мелкий ремонт по дому; у него были чуть пухлые мясистые руки, наверно, всегда потные, такое же топорное лицо, как и у отца, только помельче, как бы поубористее, маленькие глазки западали так глубоко, что при комнатном освещении глазницы были словно два темных пятна. Вообще все лицо казалось как бы выдолбленным, было, так сказать, скорее формой для отливки человеческого лица, выступали только маленькие губы да торчал нос — странный, словно прилепленный и с удивительно тонкими позdryми, — уже тогда он был синего цвета, как и потом, когда полиция сдернула клеенку. А в тот момент госпожа Циннеман увидела в его лице только что-то трогательное. И уши — даже волосы, зализанные, без пробора, бесцветными прядями спадающие от самой макушки и подстриженные, как газон, под кружок, не смогли скрыть их, — это были какие-то обезьяньи уши, оттопыренные, словно ручки, за которые его можно было таскать туда-сюда; у него было жалкое старообразное лицо младенца. Не пришла ли эта мысль в голову госпоже Циннеман, когда она, прервав папашу Колера, совершенно неожиданно для себя, сказала таким же слегка охрипшим голосом:

— Изучать право? Так пусть он живет у меня. У меня сейчас свободно.

Папа Колер откинулся наконец осторожно в глубь кресла. Его лицо залоснилось от удовольствия. Он пытался подавить его, но следил, чтобы не перестараться — госпожа фея должна была видеть, как он приятно поражен. Он несколько раз призывал небо в свидетели, но все обошлось благополучно, ни разу не обернувшись ругательством. Госпожа Колер, казалось, заснула, во всяком случае ее глаза были закрыты. Она

много страдала, прошептал господин Колер и доверительно склонился к ней. Она тотчас же проснулась и уставилась на него злыми настороженными глазами.

Колеры поднялись наверх, чтобы осмотреть гостевую комнату, госпожа Циннеман, попросив извинить ее за пыль, назвала нескольких профессоров, у которых Гуго мог бы заниматься изучением права, — Эбермайер, Хеннингс, а уголовное право, конечно, у старого Шлюэра. Тут Гуго впервые улыбнулся, она подумала про себя, что у него плохие зубы, и решила, что заставит его заняться зубами. Профессорских имен он просто никогда не слышал. Папа Колер определил с первого взгляда, хотя и уверял до сих пор, будто ничего не понимает в таких делах, что гостевая словно создана для занятий.

— Гуго, ты должен аккуратно обращаться с изящным письменным столиком.

— Бидермейер, — кивнула госпожа Циннеман. — Летом солнце до середины дня в комнате, а по вечерам прелестный вид на освещенные холмы за рекой.

Колер тотчас же подошел к окну, четко представил себе тот вид, нашел его прелестным и в это время дня тоже. Госпожа Циннеман сказала: она, конечно, распорядится провести сюда отопление; и именно Колер-старший и предложил газ; газовые печки «экономичны» и легко подключаются к кухне. Госпоже Циннеман не в чем себя упрекнуть. Если бы не газ, глупый человек все равно нашел бы какой-нибудь иной способ. Только, подумала она с горечью, может, где-нибудь в другом месте, не обязательно в моем доме. Совершенно непонятно, почему полиция примчалась со сверкающим синим маяком, как будто у нее, госпожи Циннеман, в доме прорвалась плотина или произошла другая, не менее серьезная катастрофа. Как будто она не предоставила в распоряжение молодого Колера ничего, кроме газового отопления? А шкаф, а книжная полка, — напрасный труд! — а право считать себя членом семьи? Все это она предложила сама в тот роковой час, по доброй воле, даже горячую воду из кухни, совместные обеды, если он хочет, а если не хочет, что она сразу поняла, так возможность поесть одному на кухне, чтобы не ходить в дорогие рестораны; оставалось только договориться, кто когда будет пользоваться кухней.

Ну что же нужно еще? И ванна раз в неделю входила в ту же стоимость — восемьдесят марок. Колер, который все время рассыпался в благодарностях, сразу закрыл рот, склонил голову на плечо и изобразил на лице печаль. Восемьдесят марок? Он не будет спорить. Ради Гуго ему ничего не жаль. Госпожа Циннеман намекнула, что теперь безо всякого стеснения за такую комнату берут сто двадцать.

— Да, но в том случае, если есть отопление, — сказал Колер.

— Здесь будет отопление, — ответила госпожа Циннеман резко, но не мешает подумать и о том, что у нее нет надобности сдавать комнату.

Колер уставился на нее, потом перевел глаза на кровать, как ей показалось, с некоторой усмешкой. Гуго и его мать все время стояли просто так. Стая скворцов — или это были вороны? — бесшумно пронеслась мимо окна и оставила ощущение весны.

— У меня нет телевизора, — сказала госпожа Циннеман.

— Это ничего, — сказал отец. — Гуго может быть очень даже забавным, если будет чувствовать себя как дома. У него, правда, нет достаточного опыта в общении с людьми... На первых порах неплохо бы помочь ему немножко. Но у кого нет никаких друзей, у того нет и плохих друзей. И никаких девочек! Слышишь, Гуго? — сказал отец, а Гуго не посмел даже поднять голову.

— Во всяком случае, после девяти часов вечера, — уточнила госпожа Циннеман деликатно.

Гуго не будет в тягость, уверял отец. Гуго всегда и во всем знает меру. И после этого они распрощались, заверив друг друга, что в последних числах апреля Гуго приедет и поселится здесь, чтобы изучать право, и что к тому времени газовое отопление будет установлено.

Так оно и было. Гуго приехал в конце апреля с двумя перевязанными веревкой фибровыми чемоданами, однако сама встреча прошла несколько иначе, чем она ожидала. Он привез с собой попугайные тюльпаны, зажатые в одной руке с чемоданом, они были слегка помяты. Точно такие же она поставила ему в комнату; ее это не смутило, и она от души рассмеялась, а он да-

же не разжал сомкнутых губ; и вообще все время оборачивал свое затравленное обезьянье лицо к двери, словно по пятам за ним гналась нечистая сила. Госпожа Циннеман продемонстрировала ему газовую печку британского образца; нужно только повернуть кран простым движением руки, и — хоп! — запальная свеча зажигает шесть элементов, как компетентно выразилась госпожа Циннеман, — это такие трубочки с отверстиями из материала цвета яичной скорлупы, удерживающие, несмотря на гудение и дрожание, казалось, с трудом, но довольно надежно светлое полыхание пламени, тут же отдающего ощутимое, просто все заливающее вокруг себя тепло.

— Не правда ли? — спросила госпожа Циннеман.

Он глядел с таким потерянным выражением лица, что она несколько раз включила и выключила свой феномен, ну просто так, на всякий случай.

Госпожа Циннеман никак не могла себе представить, что по такой весенней погоде нужно еще и топить, ну в крайнем случае поздно вечером и рано утром, чтобы немножко подогреть помещение; ведь днем Гуго будет выше головы занят в университете и, может, «заскочит» лишь на минутку пообедать; госпожа Циннеман умышленно воспользовалась словечком из молодежного жаргона. Гуго на все согласно кивал. Вид у него был совершенно запуганный.

Но запуганный или нет, а слова своего Гуго Колер не сдержал. Поначалу он, правда, посещал лекции и практические занятия, которые они в первый же день его приезда отметили галочкой в расписании, во всяком случае, он выходил из дома около девяти. Но он не завтракал и не приходил на обед; он появлялся только под вечер с бумажным кульком под мышкой, который он старался как можно незаметнее пронести в свою комнату, и только потом с робким стуком заходил в гостиную, чтобы коротко поприветствовать госпожу Циннеман, — он не хотел ее беспокоить. В кулке было, если судить по крошкам, дешевое бисквитное печенье, и, чем дальше, тем все чаще и чаще этот однообразный продукт и чай, который он грел на своей газовой печке, составляли его пищу за день. Уже на второй неделе он стал выходить из дому позднее, нередко около полудня, и возвращаться раньше; конеч-

но, это было исключительно его личным делом, если бы он часами не жег, часто даже и в свое отсутствие, газовую печку, что, естественно, сказывалось в прихожей на счетчике. На улице в это время стояла прекрасная погода, по которой, если уж ему не сиделось в университете, было бы невредно подвигаться на свежем воздухе. Он вечно мерз, ему просто не хватало кислорода, вот и все; но постепенно у нее создалось впечатление, что он прикрывался этим ознобом, зарывался в него, ища спасения, как бы закутывался в него, боясь выйти из комнаты, и, если бы не угрызения совести по отношению к ней, хозяйке, никакая сила не могла бы выгнать его оттуда. (Когда она призвала его к ответу, спросив, почему у него вечно горит огонь в газовой печке, он нашел странную отговорку — это как что-то живое.)

Поначалу она действительно не придавала особого значения тем нескольким маркам, которые мальчик сжигал за ее счет. Она думала только о нем и — что то же самое — о своей ответственности за него, когда напоминала ему о «свежем воздухе», ведь при привычке курить, какую приобрел этот малый, свежий воздух был не блажью, а крайней необходимостью; он ведь обзавелся трубкой и, пока был дома, — а когда его, собственно, не было дома? — постоянно дымил. Именно этот вечный дым, постепенно густой пеленой заволакивающий всю квартиру, и был той причиной, по которой госпожа Циннеман реже, чем прежде, стала переступать порог его комнаты; вначале она то и дело приносила тарелку супа в его нору, чтоб хоть немножко разнообразить его жалкую бисквитную диету; как застигнутый врасплох школьник, он быстро хватал книгу — всегда одну и ту же, богато иллюстрированный справочник лечебных трав. Бисквитные крошки расплазались по всей квартире, даже в собственной спальне госпоже Циннеман попал под ногу кусочек печенья, а скрип и хруст сопровождали ее шаги по всему дому — и в кухне, и в туалете, покоя от крошек не было нигде, даже внизу, в черной кухне, где стирали белье.

Госпожа Циннеман долго закрывала на это глаза. Внутренне она была готова перетерпеть период аккомодации у молодого Колера, поскольку смена провип-

ции на университет, на сферу умственной деятельности, и начало карьеры — это не фунт изюма для человека его среды. И если поныхивание трубкой облегчало ему положение, то ради бога, и даже с крошками она готова была смириться на какое-то время — очевидно, он никогда не видел дома сладкого. Раз в несколько дней он все же заходил в гостиную, и она пыталась выудить у него хоть что-то. Удивительно, что на вопросы, касающиеся его университетских впечатлений, цели его занятий, он никак не реагировал и не вдавался в подробности; о своих внутренних переживаниях, о которых можно было бы предположить, учитывая его религиозное воспитание, он также не проронил ни слова; политика, казалось, интересовала его так же мало, как и культурные мероприятия, на которые она обращала его внимание; да, очевидно, у него не было никаких ассоциаций с теми именами, какие она упоминала в той или иной связи. В душе она питала надежды, что юный студент будет время от времени сопровождать ее в театр — по вечерним улицам достойного города А. стало небезопасно ходить, — но этот человек, похоже, никогда даже не видел, как выглядит театр изнутри, и, что самое печальное — нисколько к этому не стремился.

Казалось, на свете существовала только одна-единственная тема, вызывавшая его интерес, — другой пол, те девочки, которых, судя по тревожному крику матери, у него не было и не должно было быть. Именно под этим нажимом пышно расцвел, как подозревала госпожа Циннеман, будучи знатоком человеческих душ, его болезненный интерес к женскому полу, проявлявшийся в нудных меланхолических возгласах по поводу опасности, подстерегавшей этих неведомых ему и чуждых существ. Госпожа Циннеман привыкла с уважением относиться к проблемам, какую бы форму они ни принимали, и потому постаралась вникнуть в то, что волновало Гуго, прибегнув к тому материнскому, доверительному тону, которого до сих пор, по-видимому, он не знал. Ее даже несколько развлекало, как он смотрел ей в рот, ловя каждое ее слово, хотя, с другой стороны, в этом было что-то неловкое, так как разговор в основном вела она. Что за нелепая ситуация: она, зрелая женщина, госпожа деканша, вынуждена была за-

говаривать о девочках, чтобы удержать молодого человека в своей гостиной, когда ей — видит бог! — этого совсем не надо было.

Во время одной из таких бесед, как ни мало он говорил, вдруг наступил тик — судорога свела выпятившуюся онемевшую нижнюю челюсть, с которой безостановочно бежала слюна. Все, вместе взятое, придало их беседам на естественную тему ненужную драматическую окраску. Она просто не знала, наблюдая за чудовищной и бессмысленной работой его лицевых мускулов, не безопасно ли оставаться под одной крышей с этим Колером.

Служанка Вольтер, убравшая ее дом, была при сложившихся обстоятельствах ее настоящей опорой. Как женщина из народа с хорошо развитыми инстинктами, она принадлежала к людям, которым не так-то легко пустить пыль в глаза.

— Что он изучает, госпожа деканша? — спросила она. — У него же в комнате ничего нет для занятий.

Госпожа деканша сослалась на затрудненное материальное положение Колера.

— Э-э-э, ерунда! — ответила Вольтер. — Спорим, что он не умеет ни читать, ни писать?

Нет, не то чтобы служанку очень уж волновало это обстоятельство. Причиной ее язвительных слов был отказ Колера отдать ей в стирку свое белье; ну что бы ей стоило бросить в машину пару его тряпок вместе с остальным бельем, но Колер сумел, несмотря на отвисшую челюсть, очень внятно объяснить ей, что он за этим не гонится и предпочитает сам стирать свое белье в тазу прямо у себя в комнате. Такой женщине, как Вольтер, это показалось подозрительным, и она пришла в конце концов к крайнему, но непреклонному выводу, что у Колера вообще нет никакого белья. Госпожа Циннеман отмахнулась от нее с улыбкой. Ей, как знатоку человеческих душ, нетрудно было увязать скрытность Гуго с его меланхолическим интересом к девочкам, хотя она не смогла бы конкретно объяснить — каким образом. На это Вольтер не нашлась, что сказать, разве только:

— Да посмотрите, какой он слюнявый.

Госпожа Циннеман с возрастающим беспокойством видела, что проблемы аккомодации Колера приводили

в растерянность ее служанку. Ей даже казалось, что Вольтер уже не старается, как прежде, вымести мусор из углов, приходит позднее и уходит раньше обусловленного времени, что полы уже не блестят, как прежде, а этого госпожа Циннеман, разумеется, не могла допустить при размерах ее дома, при хрупкости и немогущности ее собственных сил и дефиците чужих. Ее мало утешило, когда Гуго, словно предугадав чудовищное подозрение (которое только усугубил), принес однажды домой ворох книг, набив ими полный чемодан. Войдя в его синюю от дыма комнату — по крайней мере он перестал жечь газ с тех пор, как начал курить, — она увидела на нижней полке с трудом втиснутый многотомный словарь, мощный и в то же время жалкий заслон против зияющей пустоты на остальных полках, ставшей от этого только вдвойне ощутимей. Она покачала головой. Уходя, она повернулась, взвешивая свое решение, и наступила на бисквитные крошки — раздался оглушительный хруст, словно пол закрипел зубами, испуг ее не поддавался описанию. Надо немедленно написать родителю, решила она.

На следующий день он заявился сам незваным гостем, хотя все это время от него не было ни слуху ни духу. За руку он вел девочку-подростка лет пятнадцати, которую, подмигивая, представил как свою Хайдемарию; вот оно, значит, какое слабоумное дитя. Его жена нездорова, извинился он, опять подмигивая. Если бы госпожа Циннеман послушалась свою служанку, то уже тогда бы разгадала, что мать Гуго поместили в закрытую лечебницу. Колер — шумный и веселый — только что «заходил к профессору Гуго» и получил заверения, что занятия идут наилучшим образом. Девочка медленно обводила комнату глазами; отец показывал ей то одно, то другое в чужом доме, поднося к ее лицу портрет почившего декана, ценную безделушку или обращая ее внимание на холмы — прелестьный вид, открывающийся из окна, и беспрестанно поглаживал ее по спине, что сбивало с толку госпожу Циннеман. Потом он вызвался помочь госпоже Циннеман приготовить чай, но ограничился лишь тем, что уселся в кухне верхом на стул. Из писем сына ему ясно, как хорошо тот себя здесь чувствует, «в домашней обстановке», что и не удивительно, если подумать и принять

во внимание молодую душу госпожи Циннеман. К сожалению, сегодня он не сможет оценить в полной мере все ее достоинства, так как у него одно почетное поручение от фирмы, которое зовет его за границу, что, собственно, и явилось причиной его внезапного приезда. Но разве этим можно поставить в затруднение такую даму, как госпожа Циннеман! Одним словом, он надеется, что ей повезло с Гуго, и он испрашивает для себя позволения внести плату за Гуго на полгода вперед, ибо его пребывание за границей может затянуться. При этих словах он вытащил бумажник, положил на стол купюру достоинством в пятьсот марок и поднялся. Ах, нет, нет! Никакой сдачи, это все ей. Она может себе позволить на эту сумму что-нибудь такое-этакое. У него хватило наглости проследить за действием своих слов.

— К сожалению, мне надо сейчас идти, вы не должны огорчаться, считайте, что я с удовольствием выпил чаю. Идем, Хайдемария!

Когда госпожа Циннеман, беспомощно теребя руки под передником, вошла в гостиную, на краешке софы сидел Гуго Колер. Одна половина его лица горела, как от пощечины, а челюсти туго двигались.

— Кто это вас, ваша сестра? — тихо спросила госпожа Циннеман.

— Я не виноват, — ответил молодой человек также тихо. Челюсти его остановились. Из глаз медленно потекли слезы.

— Уходите! — закричала госпожа Циннеман.

— Куда? — спросил он, вставая.

— К черту! — сказала госпожа Циннеман.

Он покачал головой.

— Я не знаю куда, — сказал он, не двигаясь с места.

— Сядьте, — сказала госпожа Циннеман, она задышалась от волнения. — Не прикасайтесь ко мне.

Его лицо задергалось. Челюсть отвисла и застыла.

— Вон! — прошептала госпожа Циннеман.

Тогда он пошел в свою комнату. Она слышала скрип бисквитных крошек под его ногами, бесконечный скрип, хотя коридор вовсе не был таким длинным. Гуго притворялся. Но вот дверь в гостевой комнате защелкнулась на замок.

Некоторое время она посидела; но вдруг почувствовала — он все еще стоит в коридоре. Она оперлась о спинку кресла, встала и пошла посмотреть. Да, он стоял там перед дверью, как пятно собственной тени.

— Марш! — закричала она. — Вы почему не в комнате? — Она ухватила за дверной косяк.

Появилась полоска света, медленно и робко увеличивающаяся, потом просунулось что-то темное и вся обратившаяся в слух обезьянья голова с ушами-ручками. Он вроде бы дрожал или это прыгало у нее в глазах?

— Вон! — закричала она. Она даже рассмеялась над своим страхом.

С парнем можно было делать что хочешь. Полоска света исчезла, ее, как гильотиной, отрубили одним ударом. Постепенно тeneвое пятно вернулось на свое место.

Она доплелась до кухни и съела банку калифорнийских персиков. Вода в чайнике все еще кипела.

Нет, так дальше продолжаться не могло, да и не продолжалось. Последующие несколько дней Гуго Колер не показывался вообще. Госпожа Циннеман оставалась наедине со своей денежной купюрой, наконец она убрала ее. В четверг Вольтер сообщила новость:

— У Колера в комнате женская статуэтка, ну, скажу я вам, — доложила она. — Как же прикажете там убирать, пока она стоит?

Обе женщины произвели совместный осмотр места происшествия. Да, на жардиньерке в углу водворилась нелепая фарфоровая статуэтка. Не было слов. Законный владелец — ни разу не распутившийся цветок с крупными листьями — вынужден был уступить свое место и перебраться на книжную полку. Перемена места, по-видимому, плохо на нем сказалась: кончики листьев пожелтели, а было лето.

— Это называется теперь искусством? — допытывалась Вольтер. Ее глаза смотрели настороженно.

Что скажет госпожа Циннеман? Прежде всего она сказала бы — плоды цивилизации. Этого Вольтер не поняла, она так и осталась стоять в той же позе — облокотившись на руки.

— Доставим ему эту радость, — сказала госпожа Циннеман вяло. Теперь она приняла окончательное решение выпытать Гуго Колера.

— Ему это нравится? — спросила служанка.

— А что у него еще есть? — ответила госпожа Циннеман с грустью.

— Тогда, — сказала Вольтер и бросила на нее вызывающий взгляд, — тогда мне незачем сюда больше приходить.

— Ах, нет, нет! — воскликнула госпожа Циннеман. — Вы не поступите со мной так жестоко.

— Даю вам три недели, — сказала Вольтер решительно. — Вы должны понять, я семейная женщина, и у меня двое внучат. Я не могу смотреть на такое изо дня в день.

— Но вы же приходите только два раза в неделю, — жалобно сказала госпожа Циннеман.

— Все равно, — отрезала Вольтер. — Итак, три недели. — Она включила пылесос.

Госпожа Циннеман только открывала рот. Бисквитные крошки зашевелились и начали передвигаться толчками, словно их кто тянул на веревочке навстречу пылесосу, с жадностью заглатывающему их.

Колер всячески усложнял ее жизнь. Теперь он стал вапираться. Он ходил очень тихо, она никогда не знала — дома он или нет. Однажды вечером она открыла дверь гостиной как раз в нужный момент. Колер, с кульком в руке, быстро заморгал и хотел прошмыгнуть мимо.

— Колер, — сказала она, зная, что ее лицо в тени, — что это еще за новости со статуэткой? Что это такое?

Он замер на месте и покраснел.

— Нашел, — сказал он. — Я не виноват.

— Что за нелепая отговорка, Колер! — сказала она резко. — Где нашел?

— В магазине. — Его челюсть опять заклинило.

— Когда? — спросила она.

На это он не знал, что ответить.

— Это не произведение искусства, — сказала она строго. — Не произведение искусства, Колер, нет, нет и нет. Откройте вашу дверь.

— Сейчас? — спросил он.

— Сейчас и не запирайте впредь, — сказала она. Она больше не испытывала перед ним никакого страха.

— Хорошо, — сказал он.

— Вам это приносит радость? — спросила она. — Колер, скажите мне наконец, что с вами происходит? Вы что-нибудь ощущаете, разглядывая эту фигуру?

Он хотел прошмыгнуть мимо.

— Стойте, — прошипела она. — Колер, — сказала она, — еще две недели.

Он кивнул.

— Вы поняли?

Он стоял, тряс головой.

— Вы просто животное, Колер, — сказала она. — Через две недели чтоб вас не было в моем доме.

Он тряс головой.

— Чтоб через две недели у вас была другая комната, — сказала она.

Тогда он кивнул.

— Это нехорошая статуэтка, Колер, — сказала она, — действительно нехорошая. Если вам что-то нужно в таком роде, почему вы не обратились ко мне? Я бы купила вам настоящий мейсенский фарфор. Я же знаю, ведь вы разборчивы. Но теперь уже поздно об этом говорить.

— Спасибо, — сказал он.

— Вам, очевидно, совсем не хочется говорить об этом, — сказала она. — Утрите хотя бы рот. Вы поняли, что я вам отказываю от дома?

— Только не бейте, — сказал Колер и спрятал лицо.

— А, так вы знаете, что заслуживаете наказания.

Тут он опять заулыбался, идиот.

— Вы поняли, что вы должны уйти? — спросила госпожа Циннеман строго. — Через две недели. И забрать с собой статуэтку.

Он кивнул, сначала робко, потом увереннее.

— Вы должны себе что-нибудь найти, Колер, — сказала она. — Найти! Поймите же. Найти.

Он беспомощно оглянулся.

— Ну вот и все, — сказала госпожа Циннеман. Они постояли некоторое время. Ее колени дрожали. — Пойдемте, — сказала она. — Сядьте ненадолго. Вы ведь не ходили в университет? Расскажите мне все, как было.

Тогда он бегом бросился в свою комнату. Но ключа не повернул.

— Примите хотя бы ванну, — крикнула она ему вслед. — Вы же должны помыться.

На следующий день она написала его отцу: с ожидаемой домашней обстановкой ничего не получается, кроме того, у нее серьезные основания для беспокойства относительно учебы Гуго, поэтому она не может больше нести за него ответственность. Она настоятельно просит его в ближайшие дни забрать своего сына. Она послала письмо на имя господина Колера, старшего рабочего на кирпичном заводе в Ц. Через несколько дней письмо вернулось назад — адресат неизвестен. Розыски показали: в Ц. не было никакого кирпичного завода. Госпожу Циннеман вновь обуял страх.

В понедельник пришла ее служанка. Первое, что она сделала, — толкнула дверь в комнату Гуго Колера. Дверь была открыта. Похоже, что в комнате никто не ночевал.

— Его что, больше здесь нет? — спросила Вольтер.

— Нет, я думаю, что он все еще тут, — ответила госпожа Циннеман. — Во всяком случае, статуэтка тут.

— Но нет крошек, — констатировала та. — Что он теперь ест?

— Откуда мне знать! — ответила госпожа Циннеман.

— А-а-а, он пытается таким путем добиться своего, — сказала Вольтер. — Ну ладно, еще две недели.

— Его не будет здесь через неделю, — сказала госпожа Циннеман, — я отказала ему от квартиры.

— Никуда он не уйдет, — сказала Вольтер.

— Послушайте, — сказала госпожа Циннеман, голос ее звучал устало, — вы останетесь. Вспомните только, какого высокого мнения был о вас мой муж.

— Ваш муж умер, — сказала служанка и включила пылесос.

Он зашумел, разъезжая по комнате, то урча в дальнем углу, то переходя на более высокие тона где-то совсем рядом. Госпожа Циннеман стояла в гостиной и

поправляла гладиолусы на серванте. Потом все затихло.

— Ну вот и все кончено, — услышала она голос Вольтер.

Госпожа Циннеман бросилась в комнату Колера. Служанка как раз поднимала жардиньерку.

— С ней ничего не случилось, — сказала она.

Статуэтка лежала на полу, разбившись на три части. При падении она раскололась в самых хрупких местах — по талии и шее; на изломах обнажился дешевый сероватый фаянс. Вдребезги была разбита только голова — среди блестящих и матовых крошек, напоминавших раздавленное бисквитное печенье, валялся уцелевший подбородок. И осколок запрокинутой руки, натянувшей левую грудь, еще висел на затылке. Повидимому, статуэтка стукнулась самым слабым местом — головой.

— Оставим так, не будем убирать, — решила Вольтер. — Так будет лучше.

— Да, но это его очень огорчит, — сказала госпожа Циннеман, ей было не по себе.

— Вполне возможно, — сказала служанка. — Зато это послужит ему уроком на всю жизнь.

Обе женщины кивнули.

— К тому же не все потеряно, — сказала Вольтер и отпихнула в сторону носком зашнурованного башмака отколовшиеся ляжки. Отдельно они производили еще более отталкивающее впечатление.

— Он, пожалуй, может еще и скленть, — сказала госпожа Циннеман.

— Он на все способен, — сказала Вольтер.

— Не оставляйте меня сегодня, пожалуйста, одну, — попросила госпожа Циннеман.

— Муж вернется домой, — ответила та, — и, если у меня не будет готов обед, мне достанется. — Она сняла передник.

Тогда госпожа Циннеман заперлась в гостиной, где у нее стоял телефон.

Дважды ей казалось, что Колер пришел домой, но, пожалуй, это было не так. Вторая половина дня тянулась бесконечно, а вечер — целую вечность; у гладиолусов раскрылись бутоны буквально на ее глазах. Она попробовала читать, но не нашла желанного успокое-

ния. Незадолго перед полночью она осторожно повернула ключ и высунула голову в коридор. Ну разумеется, она сразу же почувствовала запах газа. Она тут же захлопнула дверь, выключила электричество и распахнула окно. На телефонный диск падал с улицы свет, да и набрать нужно было всего две цифры. Потом она высунула голову в окно. В темноте полыхали гладиолусы. В легких дуновениях ветра ей чудился запах цветущей липы — неужели это не сон? Все было опять, как прежде. Потом она увидела, как издали быстро приближаются пронзительные всполохи синего маяка. Разве нельзя было без этого обойтись? Как раз то, чего она боялась, — окна напротив начали оживать. Насчет событий в пасторском доме у людей топкий нюх.

— Знаете что, Вольтер, — сказала она в четверг, — пойдемте, выпьем по чашечке кофе. Сегодня у вас свободный день.

— Ну если уж вам так хочется, — засмеялась служанка. — Мне бы только на минутку заглянуть в его комнату.

— Я ее опять закрыла, — сказала госпожа Циннеман.

Она принесла ключ. Утреннее солнце наполнило комнату светом. Ничто больше не напоминало о том, что здесь кто-то жил.

Вольтер потянула носом воздух.

— Я насыпала свежую лаванду, — сказала госпожа Циннеман.

— Ну что, он совсем спятил или как? — спросила Вольтер. — Ведь ни один нормальный человек не делает этого.

Обе женщины задумчиво посмотрели на маленькую газовую печку. Она казалась такой неприметной и безобидной, но именно она-то и была во всем виновата.

— А ведь это *вы* разбили статуэтку, дорогая Вольтер, — тонко заметила госпожа Циннеман.

НЕВЕРНЫЙ ПРОКУРИСТ

Иногда ему хотелось завести любовницу, но не потому, что у его коллег по фирме они были — фирма тут совершенно ни при чем, — просто ему хотелось быть как все и иметь то, что имеют все. Конечно, он предвидел, что при его спокойной, налаженной жизни любовница создаст известные трудности, но если уж хочешь взять от жизни сполна, то надо быть готовым к тому, что где-то ты выгадаешь, а где-то прогадаешь. Он искал лишь одного — душевности, привязанности к нему как к человеку — уж столько-то можно ведь требовать от жизни.

А получилось это так. Показывая в рекламном салоне фирмы новую автоматическую соковыжималку, он разговорился с одной журналисткой, которая, как она сама вскоре ему рассказала, недавно вернулась к своей старой профессии, так как дети ее подросли и уже не нуждались в ежедневной опеке. Правда, раньше, когда ей было двадцать, она писала о событиях культурной жизни.

Когда соковыжималка была достаточно хорошо продемонстрирована и говорить о ней было уже нечего — кстати, все пояснения и так давал другой представитель фирмы, толковый молодой человек в лиловом пиджаке, в то время как сам он — доверенное лицо фирмы — держался несколько в стороне, особенно после того, как узнал, что его собеседница раньше писала репортажи о событиях культурной жизни, — он примерно в половине десятого взял, к своему удивлению, ее за локоток и повел к выходу. Я здесь больше не нужен, сказал он ей. Из того, что она без рассуждений пошла с ним, он пока еще никаких выводов не делал.

У него даже не было охоты продолжать разговор или зайти с ней куда-нибудь выпить — напитков хва-

тало и здесь, он сам проследил, чтобы их заказали в должном количестве. Просто он вдруг почувствовал, что самое правильное, оп бы даже сказал — необходимое, сейчас уйти за пять минут до окончания демонстрации и тем показать, что он сам себе хозяин. Где-то мимоходом, вовсе не взволновав его, мелькнула мысль, что с ней можно было бы переспать, да и без особых церемоний: многодетная мать и все такое прочее, она вряд ли станет придавать этому особое значение, так что с самого пачала он не сулил себе ничего захватывающего, скорее нечто буднично-благонадежное -- что здесь могло быть опасного?

По правде говоря, она была не настолько хороша, чтобы вызывать подобные мысли, если уж к ней при-смотреться поближе. Возможно, даже чуточку старше, чем он. Это развязывало ему руки: в кафе «Эксцелленс», за столиком в углу, он был ненавязчиво галантен, позволил себе чуть ли не открыто говорить о своей усталости; она не обиделась, и ее несколько не шокировало, что он служил в фирме, изготавливающей предметы домашнего обихода, в самом деле нет, это не было пустой вежливостью с ее стороны. Жизнь сделала ее скромной, научила сочувствовать другим. Ее карие, слегка близорукие глаза подолгу не отпускали его взгляд. Ему даже не понадобилось обращать ее внимание на то, что в своей фирме он не последний человек, она и так уже все поняла, но это было для нее не важно. Она душевный человек, думал он.

Он рассказывал ей о себе и о своей семье — о семье упомянул уже в самом начале разговора. Во всем должна быть ясность — подтасовывать что-то (или утаивать и т. п.) было не в его правилах. Все, что он рассказывал о доме и саде, звучало сегодня вечером легко, непринужденно, такой он себе правился. И дело было вовсе не в алкоголе, они пили только пиво, правда датское. Она решительно отказывалась от виски или других крепких напитков, без всякой особой причины, впрочем, особых причин у них вообще ни на что не было, все текло само собой. Он мог не глядеть поминутно на сигарету, чтобы вовремя стряхнуть пепел, а просто спокойно курил и смотрел на нее, выпуская дым ей чуть ли не в лицо. Раз-другой они рассмеялись — для них еще не пришло время молчать. Лицо

у нее было чуть-чуть печальное, но, по-видимому, это было постоянное выражение, и ему, вероятно, не стоило ни о чем ее спрашивать. Порой ему не хватало слов, а то вдруг удавалась какая-нибудь неожиданная шутка. Она ни за что его не осуждала. Ему это нравилось, и, похоже было, она с ним вовсе не скучала.

Иногда он мысленно отводил ей прядь волос за ухо, думая, а что, если все-таки переспать с такой, как она, но потом опять забывал об этом. Когда она подергивала плечами, мысль эта вспыхивала в нем с новой силой, но он думал об этом, как думают о неуклонно приближающемся празднике, а не о чем-то преступном.

В одиннадцать он проводил ее до отеля — это был отель среднего класса, где портье должен прислуживать и в ресторане. Они прошли мимо пустой швейцарской, поднялись по лестнице в ее номер, он опять держал ее за локоть, но теперь лишь легко сжимая его. Она быстро закрыла дверь — комната была узкая и длинная, с тусклым освещением, он выключил свет, и в темноте она молча прижалась к нему с коротким всхлипом. Потом они неторопливо разделись, потрескивала одежда, и только их последнее движение, когда они ложились на едва различимую в темноте узкую кровать, выдало их смущение: от неловкости они столкнулись, мешая друг другу; еще целую минуту он мог позволить себе думать о чем-то постороннем или вообще ни о чем не думать. Бурной их любовь нельзя было назвать. Однако пальцы ее впивались ему в спину гораздо сильнее, чем он ожидал, и в самый последний миг он еще успел подумать, что, пожалуй, в его объятиях не только душевная, но и жаждавшая жепщина.

Пока они курили и впервые вместе молчали, его охватили сомнения — не слишком ли много он сказал, но он решил оставить все как есть, и только чуть позже (уже несколько отвлекшись) он ощутил какое-то беспокойство, заставившее его резко сдавить ей плечо. Она ответила улыбкой и прижалась волосами к сжавшей ее руке; он украдкой посмотрел на свои часы, фосфоресцирующие цифры высветили — почти половина двенадцатого, а он даже не позвонил домой. Он почувствовал, как спина его покрывалась испариной. Он не может здесь дольше оставаться, но у него не хвати-

ло духу сказать ей об этом. Он сжал ее еще сильнее, и она опять улыбнулась.

Тогда он начал разыгрывать маленькую комедию с целью напомнить ей о своей усталости — нет, ничего особенного, их отношениям это ничем не грозит, на усталость он ведь жаловался ей и раньше. Он немножко лгал, больше даже в мыслях, чем на словах, но этого было уже достаточно, чтобы в нем шевельнулся протест: а почему, собственно, он не может быть усталым? Повидимому, она не замечала, что он стал с ней неискренним, — то ли она слишком жаждала любви, то ли была чересчур счастлива, это пугало его, и теперь, глядя на ее просветленное лицо, он думал, что эта любовная связь — первая за время его благополучной семейной жизни — не вызвана настоящим чувством. Она провела пальцем по его явно нахмуренным бровям, еще не ведая, что это уже первый прощальный жест. Но тут расставание с нею представилось ему уже с другой стороны: ведь он был еще — или снова — нерасторжим с этим чужим хрупким телом, таившим в себе столько душевности и наполовину уже преданным им, телом, которое он ощущал совсем как свое, и вот его плоть снова слилась с чужой плотью, и по тому, как опять впились в его спину ее пальцы, он почувствовал всю безмерность ее желания. Очевидно, она давно не любила, но он хорошо знал, что любить его особенно не за что, во всяком случае — любить с таким пылом.

Сквозь тонкую дверь часто слышны были шаги — удаляющиеся, кто-то подходил, нерешительно задерживался, потом быстро пробегал мимо. Она вздохнула со стоном, он попытался заглушить своим телом эти нежные постанывания, причиной которых отказывался считать себя; он навалился ей грудью на лицо, и одному богу известно, что он с ней сделал, казалось, она умирает, задыхаясь и захлебываясь. Он испугался, но со аллопатрическим упрямством остался в том же положении. Была уже половина первого. Он взгляделся в часы на своей руке — вероятно, его жена не спит и рисует себе картины одну мрачнее другой, вереницу сплошных бед, в которые он угодил, а его мысли тем временем сосредоточились только на одном — посидеть бы в туалете с хорошей книжкой.

Несколько минут спустя, после того как он ревностно исполнил свой долг и она успокоилась, он отважился сообщить ей, чего ему хочется, не упоминая, конечно, книжки. Вся сияя, она восприняла его слова как бог весть какую остроумную шутку, верный признак интимности, доверия с его стороны и, обрушив на него град нежнейших поцелуев, стала торопить его одеваться — скорее, ну скорее. А он думал о том, как бы ему в темноте не надеть кальсоны задом наперед — ему не хотелось огорчать свою жену из-за таких пустяков; вдруг зажегся свет — ярко вспыхнула простенькая лампа, он все стоял и вертел в руках свои кальсоны, беспомощно моргая, ослепленный резким светом, она же тихонько и утешенно смеялась. Ему ничего не оставалось, как рассматривать ее обнаженной, она вся засветилась, словно только что произвела на свет свое собственное тело, а он не испытывал ни нежности, ни отвращения, это придавало ему уверенности, и он весело прищелкнул языком, натянув наконец кальсоны. Он еще сказал, что слишком толст для нее, впрочем, теперь ему уже действительно пора было торопиться, скорее, скорее прочь отсюда — быстрые, пресные поцелуи, ни один из которых не предвещает нового свидания.

На почти опустевшей стоянке, в тени своей машины, он наконец справил малую нужду и услышал, как на нескольких городских башнях пробило час ночи.

Людям свойственно создавать себе ложные тревоги. Его собственный дом, на который он смотрел с щемящим сердце умилением, был погружен во тьму, и он мог спокойно смыть с себя следы чужого пота и чужого запаха. Все было в полном порядке и даже склоняло к тому, чтобы уже не столь решительно отвергать мысль о новом свидании. Его жена давно спала, она нисколько не волновалась, ведь она знала его, и, когда он устраивался рядом с ней, издала лишь какой-то невнятно ласковый звук, и он не стал додумывать свои мысли до конца, а уютно окунувшись в привычную домашнюю усталость, ровно засопел, и с каждым вздохом все видения и воспоминания отлетали от него все дальше, наконец давая ему покой.

Конечно, были письма; из-за них приходилось ловить почтальона прямо у дверей. Он бегло просматри-

вал их, прощупывал не импонировавший ему круглый почерк в поисках чего-то определенного — дат, сроков возможных рапдеву, — заносил их, зашифровывая, в свой деловой календарь и, тщательно порвав потом письмо на мелкие кусочки, спускал в унитаз, следя при этом, чтобы исчезло все, до последнего обрывка. Он посылал в гостиницу розы, когда знал, что она приехала, но приходил и сам. Если он выходил из конторы достаточно рано, им хватало времени для легкого ужина, прежде чем они поднимались в номер; портье, конечно, видел, как они проходили, понимал, в чем дело, и время от времени получал солидные чаевые, до свойского подмигивания он не опускался. Так эта любовь превратилась в непридавную привычку, которую он мог себе позволить — в деловой суете недели он постоянно забывал, что семь дней назад был полон решимости отказаться от нее. Эта связь не пустила глубоких корней ни в его сердце, ни в памяти — тем легче и безболезненнее было от нее избавиться. Но каждый раз что-то опять набиралось по крохам, прорастало на несколько мгновений внутрь, рождало желание и само снимало его — он тут был совершенно ни при чем, — и, когда все потом откатывалось назад вместе с ее разжимающимися пальцами, он воспринимал приближение честно заслуженного расставания с таким облегчением, что едва мог скрыть свою сухость, она прорывалась помимо его воли, заявляла о себе нетерпеливо, даже требовательно, и пожирала саму память о любви часто еще на глазах самой любви. Это приводило его в смущение, ведь ему было приятно ощущать на себе ее мягкие прохладные пальцы. И все же ему казалось весьма странным, что она, судя по всему, не могла без него обойтись: даже когда она теребила его волосы и ласково гладила его кожу, он считал, что это недоразумение, — таким он себя не знал. И напрасно она уверяла его, что он должен оставаться таким, какой есть, — много чести, думал он, если ты воображаешь, будто твоя любовь меня преобразила. К сожалению, нет.

Но и нельзя сказать, чтобы уж совсем ничего не было.

Часто, когда они оставались вдвоем, он развлекался тем, что наблюдал себя. Это уже было нечто новое. Но-

вой была хотя бы та дистанция, с которой он видел теперь не только ее, но и свое тело, что, видимо, и помогало ему быть или по крайней мере казаться настоящим мужчиной; в сравнении с этой все любовные истории его молодости просто ничего не стоили, о своем браке в этом смысле он не позволял себе думать. Чего бы он только не дал за такой вот вечер двадцать лет назад! Тогда он только мечтал об этом, и даже сейчас, в воспоминаниях, мечты оказывались такими нестойкими, что, обнимая эту женщину, он мог лишь вообразить, что было бы, имей он любовницу в юности. И злость из-за упущенного в жизни делала его способным на такую чувственность, что она вправе была думать — во всяком случае, так он прочитал в одном из ее писем, — что подарила ему новую жизнь.

Ну и что теперь со всем этим делать?

Когда она, отделенная от него несколькими городами, гуляет со своими сыновьями, она опять подставляет лицо ветру — весеннему ветру, впервые за много лет, — сейчас он уж точно не помнит, как там сказано. Но при случае он ссылался на ее слова — ведь он был воспитанным человеком.

Она тревожилась, потому что его сетования на себя становились все чаще и беспощаднее; я не позволю говорить так о моем любимом, сказала она ему. Она воспринимала это как игру, как выражение его уже знакомой ей усталости и т. д., а он совсем не шутил. Когда он говорил о себе в пренебрежительном тоне, это должно было означать: ну на что тебе эта связь со мной? Он унижал себя, чтобы ускользнуть от нее. А она этого не замечала.

Когда она заговаривала о своем муже — не презрительно, нет, скорее задумчиво, — он только кивал, но никогда не говорил о своей жене. Она не могла быть предметом их разговора.

Однажды, сидя на краю кровати, он сказал: смотри-ка, какие у меня отвратительные толстые ноги. Она тотчас же набросилась на них с поцелуями, и никогда еще ни одно прикосновение не было ему столь приятно. Из чувства вины перед ней он легонько потренил ей волосы.

— Вечно у тебя на лице забота, — сказал он. — Что тебя, собственно, гложет?

И начертил ей пальцем на лбу преувеличенно глубокие складки. Тогда они оба начали смеяться, и он старался не смотреть на сетку морщин у ее глаз. Когда видишься всего раз в неделю, заметно, как человек стареет.

Она думала, что облегчит ему все (собственно, что?), заверив его, что ей нужно только его тело. Но как раз оно вовсе не было предметом его гордости. Однако он по ее движениям чувствовал, что она получала от него много, даже слишком много, жадно поглощала все, как пустыня, которая вбирает в себя воду. Но он не хотел быть для кого-то водой в пустыне. Не хотел тратить на нее свои жизненные силы — у него была прекрасная должность, благополучная семья, его жена еще хороша собой, хотя любовь несколько и поугасла, так что жизнью своей он вполне доволен. Он даже стеснялся того потрясения, которое вызывал всякий раз в этом миниатюрном чужом теле, даря ему за несколько минут учащенного биения собственного сердца много больше, чем ему хотелось. Такого успеха его коллеги не знали со своими любовницами, думал он, вот это, я понимаю, победа.

— Не беспокойся обо мне, брось ты все это, перестань ты вечно беспокоиться обо мне, — говорил он при свиданиях, поскольку эту фразу можно было произносить холодным, равнодушным тоном, не выдавая себя.

Он видел ее однажды во сне — как будто она попала под машину и он с искренним чувством гладит ее не пострадавшее при этом тело — наконец-то ей нечем ответить на его ласки. Этот сон даже несколько его не испугал.

Ему скоро сорок пять, соковыжималка хорошо продавалась, и теперь они иногда ходили в кино на интересный фильм, а не просто лежали все время в постели. Когда она подходила к нему, вся сияя, словно майский день, он чувствовал, что этот другой город был для нее праздником. А ему надо было здесь жить, встречаться с соседями, выдерживать их испытующие взгляды. Все это он вымещал на ней, когда они оставались вдвоем в номере, но она принимала это за страсть, ставшую уже привычкой, и называла его все новыми и новыми именами, даже такими, какие можно встретить только

в Ветхом завете. Но зато теперь она не посылала ему писем по почте, а совала их ему при расставании — пухлые конверты, он читал их, чтобы сразу разделаться, прямо в машине и бросал всегда в один и тот же водосток. Но привыкнуть к ним он никак не мог, обрывки их преследовали его даже во сне, и утром, просыпаясь, он холодел от ужаса, когда видел перед собой асфальт, усыпанный белыми лепестками отцветающих вишен.

Словно тревожась о будущем их любви, она бережно относилась теперь ко всем его действиям и желаниям, даже к попыткам бежать от нее, к его малодушию, заботилась обо всем, радовалась и тому, что было в нем самого заурядного, потому что, казалось, нуждалась даже в этом — а ведь он и сам когда-то хотел, чтобы любовница его была настоящим душевным человеком. Постепенно она стала казаться ему матерью, особенно когда дремала — случалось, что за два, самое большое два с половиной часа их свидания она засыпала у него на плече или на груди. В эти минуты ее лицо переставало сиять и становилось по-матерински озабоченным, но на его мать она не была похожа. Это опять приводило его в возбуждение, и он радовался, что его плоть вдруг брала над ним верх, — ему не хотелось быть с нею до конца честным, этого он не мог себе позволить, ведь тогда от его любви ничего бы не осталось, а этого она не заслуживала.

Он дал указание своей секретарше — если позвонит такая-то, я на заседании, отныне и впредь. Однажды он даже добавил: это та навязчивая особа, и покрутил пальцем у лба. Никто его за язык не тянул. Секретарша, ее звали Дорис, захихикала и сказала:

— Ну вы тоже хороши!

Дорис была не в счет. Но он вдруг опять почувствовал прилив гордости. Такая любовь!

— У тебя много заседаний, — сказала она.

— Конец квартала, не все идет гладко, — ответил он, — ты понимаешь, мы производим товары на экспорт, а вся валютная система сейчас расшаталась.

Дела фирмы преследовали его сегодня по пятам, это не касалось их отношений. Он провел пальцем по ее губам.

— Ты знаешь, у меня сегодня так голова болит, — сказала она, — я уже припила три таблетки, и никакого толку.

— Сейчас мы тебя вылечим, — бойко сказал он и положил руку ей на колено.

— Пожалуйста, не надо, — возразила она, — я просто немножко полежу.

Они не виделись уже целый месяц. Но раз уж это была любовь, то так тому и быть.

Он сидел, чувствуя, что остался с носом, не так уж часто он позволял себе эти встречи, а сегодня как раз мог быть приятный вечер, он это чувствовал нутром. И вот на тебе. Ну что ж, пожалуйста.

Зато он встретил настоящего человека. Когда они уже расставались, она сказала:

— В одной книге я прочитала нечто ужасное. Это Гёте, он пишет про одну женщину: когда она любила, то была нелюбезна. По-моему, это ужасно.

— Не принимай так близко к сердцу, — сказал он, — Гёте — это тоже еще не вся земная мудрость.

Она посмотрела на него обескураженно, по делу тут было не в Гёте, это он заметил. Бог мой, должна же она понимать, что я имею в виду. Нельзя ведь взвешивать каждое слово, которое говоришь друг другу.

Потом ему опять приснился сон — как будто его повышают в должности. Освободилось место директора в Мюнхене. Он проснулся с испариной на лбу. Боже мой, думал он, здесь у меня дом, и не могу же я взять и просто так перевезти детей в Мюнхен — здесь у них друзья, да и моей жене там не понравится. Тут он проснулся окончательно и сразу понял — что-то должно случиться.

А случилось то, что он заболел: ничего страшного — с каждым днем все ощутимее давал себя знать аппендицит, поднялась температура. Итак, операция. Он не писал ей об этом, тем не менее все время опасался ее посещения или, что еще хуже, письма по домашнему адресу. Тогда он написал ей сам, как только шов позволил ему ненадолго сесть. Он чувствовал себя хорошо, в руке у него только карандаш дрожал. Он писал, что здоровье его пошатнулось, что он варварски растрачивал его, надрывая свои силы, физические и духов-

ные. Он долго пытался скрыть это от себя и от нее, но теперь наступил такой угрожающий момент, когда их отношения могут все погубить, он вынужден нажать на стоп-кран, и ради ее благополучия тоже, он просит ее не искать больше встреч с ним. Мысли не подвластны обстоятельствам, в этом его утешение, единственное, а от всего другого он должен — увы! — отказаться.

Сестры в клинике были жизнерадостные, недостатка в уходе он никогда не испытывал, по его сигналу они приносили ему все, что ему было нужно: чай или средство для разжижения крови. Сестра Мопика, самая веселая из всех, обещала ему захватить письмо, когда пойдет с ночного дежурства, и опустить его, тогда оно дойдет еще сегодня.

— Но это точно? — спросил он.

— Абсолютно точно, мсье, — сказала она. Она была лучше Дорис.

Жена навещала его почти ежедневно, и вечерами тоже. Он ведь лежал в частной клинике. С каждым днем он все заметнее выздоравливал, в правом боку кололо и дергало все меньше, теперь там только легонько пощипывало, так что ему хотелось почесать больное место, но этого как раз и нельзя было делать, это было строго-настрого запрещено. Он очень боялся ответа от нее, собственно, боялся того, что письмо придет в неурочное время, когда он будет не один, ведь его можно было навещать в любое время.

Ему разрешили встать, и он сделал первые осторожные шаги по коридору, сначала с помощью сестры, потом — жены.

На десятый день ему сняли швы.

Письма не было, оно не пришло и домой, и он с таким облегчением думал о ней, что, обманывая себя, считал это теплотой. Она была душевным человеком, и он гордился — не собой, нет, ею, это останется с ним навсегда, и никто не сможет у него этого отнять.

Я не скуп. Я только боюсь тратить деньги. Точнее было бы, пожалуй, сказать, я вообще боюсь денег, их власти и неподотчетности тем, кто ведет им счет, кто беспокоится о них. Это свойство денег я сполна познал еще ребенком в доме своих родителей, где, казалось, им был пропитан воздух, которым я дышал, оно слабой щемящей болью отдавалось в груди, но никто не воспринимал ее трагически, пока она злоеще не усиливалась. Мои родители работали, но я знал — хотя они мне этого и не говорили, — что денег, заработанных их трудом, едва хватало на жизнь. Мы, дети, росли под сенью фруктовых деревьев на лоне сельской идиллии, у нас всегда было много яблок, но пугало то, что от родителей требовалось, очевидно, постоянное напряжение сил, чтобы не пускать нужду в дом, сдерживать ее натиск у наших стен, прогибавшихся в моих сновидениях под ее напором. Стоило матери сломать однажды ногу — ее косточки казались такими хрупкими! — тогда сломалась бы и наша жизнь, и я знал наверняка: рухнуло бы все и ту малую толику светлого детства, с которой я рос, навсегда унесла бы прочь страшная сила, чью природу я не мог постичь. Между нами и бедой стояли только деньги, и моя интуиция подсказывала мне, что те несколько сотен франков в месяц, снизошедшие до нас и обрекавшие моих родителей на иезуитскую изворотливость, находились в тайном сговоре с бедой, зло насмехались над нами и не заслуживали того, чтобы мои родители так гнули из-за них спину, но в то же время они не оставляли им никакого иного выхода.

Ах, как совсем по-другому было поставлено дело в домах некоторых моих друзей! По всему было видно, там разговаривали с деньгами на равных, да нет, там

просто вообще не было речи о деньгах. Они были там покорными, ручными, они усаживались на софу с матерью моего друга Гуго и так мило беседовали ее устами, что выходило — в беде-то был я, а не сын их поломойки. Деньги давали — чего они никогда не делали в нашем доме — уверенность в завтрашнем дне, они гарантировали жизнь. У детей обостренное чувство — они знают, в какой они одежке и как им протягивать ножки. У них вырабатывается навык не сделать ни одного лишнего движения, чтобы оно не выдало их присутствие черной силе — вечно юной хищнице, поджидающей свою жертву: здесь кто-то шевельнулся, не зевай! Хватай!

Я принудил себя жить осторожно, потому что рано осознал, каким вызовом вздорной судьбе могла бы стать моя персона — тощая, суетливая, со вздернутым плечом, лишенная даже права на ответный юмор. Я прекрасно знал, что это такое, потому что сам с удовольствием участвовал в измышательствах над одним школьным товарищем, внешность которого полностью подпадает под это описание. И если я пугался, приходя в ужас от жестокости наших забав, и отступал, не решаясь дать испытать ему сполна то, чего страшился сам, так только потому, что еще больше я боялся привлечь внимание зачинщиков к себе, в глазах которых сверкала злоба и сила. Меня не удивило, что тот школьный товарищ — его звали Бруно — утонул вдруг в озере, хотя все говорили, он умел плавать. Я-то знал, с какой жадностью подстерегала слепая стихия момент, чтобы уничтожить его, и как чесались у нас руки, когда мы хватали его за горло. Бедность, написанная на рыхлом подбострастном лице Бруно, была соблазнительнейшей приманкой для смерти, ходившей за ним по пятам. Его мать, так же как и моя, мыла полы, и я внушил себе, что Бруно утонул вместо меня и что я не нужен теперь злой судьбе, беда минует меня.

Я устроился в этой жизни — не на виду, но и не в тени; я окончил, как и мои братья и сестры, девять классов народной школы. Учиться дальше я не решился, несмотря на хорошие оценки. Пойти в кантональную школу, как мне советовал классный учитель (а почему так сверкают стекла его очков? Уж я-то

знаю почему, меня не проведешь), я мог, только закрыв на все глаза, что и было бы как раз тем случаем, которого ждало мое счастье, чтобы навсегда покинуть меня. В большой массе учеников я, правда, тоже чувствовал себя не совсем уверенно, но был чуть лучше замаскирован. Ведь если где-то что-то назревает, то в толпе легче затеряться, рассчитывая, что выбор падет на другого и опять пронесет мимо, как в случае с Бруно, поэтому я никогда не выпячивался, но и не плелся в хвосте и следил только за тем, чтобы меня терпели и считали неподходящей, на худой конец движущейся мишенью.

Однако ирония судьбы, которая плетет сети для всех жизненных ситуаций, забросила меня, возможно, из-за моей трусливо щепетильной добросовестности на бухгалтерскую стезю, то есть поместила в непосредственной, можно сказать опшломляющей, близости к деньгам. И мне казалось, я ловко перехитрил их, как тореадор (я видел корриду в свой последний отпуск, я еще вернусь к этому), который прижимается к боку быка, и тогда ему уже не страшны его рога. Этот смертельный маневр был, если все хорошенько взвесить, самым надежным выходом из положения. Деньги должны были защитить меня, да, я наслаждался, сидя за письменным столом и тихонько работая, иллюзией власти над ними. Они выстраивались передо мной — я даже не касался их — в стройные колонки, головокружительная высота которых нисколько не волновала меня, была видимость того, что я *тратил* их без числа, и меня устраивала жизнь, полная отблесков этой расчетливой игры. Я очень благоразумно поступил, заранее обеспечив себя. Когда мои родители умерли, все-таки осуществив свою постоянную угрозу, выражавшуюся иногда в словах, а чаще в безмолвной усталости, мы, дети, были уже в безопасности, каждый со своим доходом, и тот круговорот, который возникает вокруг гроба, унесший твердую почву из-под ног еще в детстве, уже не смог нас затянуть в свою пучину.

Поскольку в этом году я позволил себе провести отпуск в одной из южных стран, можно заключить, что я избавился от своей алой судьбы, а может, она задремала где-то, затаившись. Все было прекрасно. Но я

слишком рано зашевелился. Я дал выманить себя на солнце, забыв, какую отбрасываю тень — она ведь не ведала о моей уверенности в завтрашнем дне и тут же приняла облик синего человека. Да, я настолько преуспел в жизни, что утратил память, забыл страх — свою единственную опору, которая, возможно, спасла бы меня и на сей раз.

Все так хорошо началось. Я любил свою жену; и, если мне дозволено произнести такие слова, я бы сказал, я все еще люблю ее. Моя жена скрепила наш брак небольшим состоянием, которое я надежно поместил благодаря своим связям в солидном банке. Когда моя жена ждала ребенка, мне показалось, что пришел тот час, когда я должен застраховать свою жизнь, чтобы обеспечить их будущее. Сумма страхования, которую жена должна была получить в случае моей смерти, была предметом наших постоянных подтруниваний друг над другом — я думал тогда: шутки доставляют ей удовольствие, и отвечал тем же; теперь я в этом совсем не уверен. Тогда я ощущал только невероятный прилив свободы, которую с радостью оплачивал частью своего заработка. И это ощущение зашло так далеко, что я даже отважился подтрунивать над страхованием своей жизни — сим странным союзом с будущим против его собственной неисповедимости. А что есть на свете такого, чего мы боимся больше собственной смерти? От чего считаем нужным искать защиты, даже сойдя в могилу? Как это ни странно звучит, для меня не было ничего страшнее бедности, меня терзал страх — я боялся оказаться в когтях жуткой, нечеловеческой нищеты; страх обладает, вероятно, достаточной живучестью, чтобы терзать меня всю жизнь и заставлять постоянно думать, что будет с моей семьей после моей смерти. Ведь тот факт, что плоды моих заблаговременных дум о них принесут когда-нибудь обеспечение моей семье, уже тогда был лишь видимой причиной моего покоя, внутреннего мира в моей душе не было. О чем я тогда думал, можно передать только в образах, что сразу делает меня предметом насмешек: я видел себя запеленатым в свой страховой полис, как мумии богатых египтян в льняные бинты, в целостности и сохранности и без сновидений причаливающим к другому берегу, да, в первую очередь без всяких сно-

видений. Я надеялся, что сне хрупкое облачение защитит меня от посягательств вечности, представлявшей мне не иначе как мстительной и злобной.

Но полис впес облегчение и в мое земное существование. В сопровождении Ирэны я, как выздоравливающий, каждый день решался на несколько новых шагов, все смелее выходя из своего преднамеренно суженного круга, а минувшим летом, я уже упоминал об этом, впервые в жизни позволил себе появиться под пальмами. У меня была возможность наблюдать эффект своими собственными глазами, ведь Ирэпа прилежно фотографировала; я не понравился себе, если я смею так сказать, на ее фото. Я казался каким-то прозрачным среди чужой растительности, невесомым, меня не составило бы труда выковырнуть оттуда одним пальчиком, и пальмовый фон тут же бесшумно сомкнулся бы, как занавес. Тут-то и появился человек в синем, разбудил мой задремавший страх, отнял его у меня, вынудив из моей зажатой руки, и унес куда-то за пределы досягаемого. Вот как это было: под моими ногами, тихо ступавшими по окрепшей, казалось мне, почве, разверзлась, сияя злорадством, бездна, и там четко обрисовалась маленькая, вроде бы беспомощная фигурка. На самом же деле он все время сидел тут — с убийственной покорностью и смиреннем и такой sereneкий с виду, — сидел так близко, за нашим столом, что я мог бы его сфотографировать; наверняка он не посмел бы возразить, не мог он себе этого позволить — музыкантишка, которого всего лишь терпели. Если бы я это сделал! Тогда мне не было бы нужды описывать его сейчас, делая столь слабый жест в сторону той не знающей конца и края западни, где он скрылся от меня, — тех пустынных южных улиц, где, затаившись, он состряпал конец моего семейного счастья; он и сейчас притаился там, чтобы нанести еще один удар, окончательный, — дьявол в обличье ангела, похитивший у меня последнюю опору моего страха и низринувший его в тартарары. Ведь человек, у которого нет страха перед жизнью, как у музыканта, должен обладать невероятными связями, должен быть в сговоре с самым страхом, и я знаю — однажды напоследок он предъявит мне свой страх как неоплаченный счет, взяв меня на пушку и на мушку. Я уверен, ему доста-

точно двух приемов, чтобы превратить свою поющую пилу в орудие убийства. Если бы мне только удалось рассчитаться с ним! А еще лучше — никогда бы и не помышлять об этом! Теперь он свободно разгуливает по белу свету с моей непринесенной жертвой, и, насколько я знаю, как бывает в жизни, в один прекрасный день, такой, как сегодня в ноябре, он явится, потребует от меня жертвы, какую я не в силах буду ему принести, ведь я не знаю даже, что мне предстоит потерять еще. И та тонкая преграда, которую я возвел между собой и своим страхом, рухнет под тяжестью этой жертвы на моих глазах, и померкнет свет, и нахлынут сны, которых я боюсь больше всего.

Декорации очень просты, хотя и внове для нас обоих. Это наш первый отдых на юге, вообще наша первая совместная поездка (свадебное путешествие пришлось отложить из-за подведения годового баланса в банке) и, пожалуй, последняя на ближайшее время — я имею в виду только состояние моей жены. Мы с Ирэн — мою жену зовут Ирэна — только что вернулись с корриды. Это было ужасное зрелище, но вопреки моим возражениям Ирэна ни за что не хотела отказаться от него. И вот наконец — это я смею утверждать — мы оба радуемся, что избавились от палящего багряного солнца (места в тени стояли баснословно дорого). Мы быстро освежились — был пыльный день — и уже сидели внизу в патио — внутреннем дворике отеля — за чаем. Природа и история в равной степени одарили это местечко своими красками. Рассказывали, что в лучшие времена в нашем отеле останавливались гранды, собираясь на аудиенцию к вице-королю; и под арками, замкнутыми в каре и изогнутыми, как высоко поднятые брови, еще витал их мрачный изысканный дух. Тяжесть арок смягчалась легкостью зелени, рассыпанной в горшках по каменным плитам пола и поражавшей воображение огромными пышными цветами среди изящной, хрупкой листвы. Посреди дворика бил затейливый фонтанчик; теряя силы, он вот-вот грозился иссякнуть, но возрождался вновь в изящных подскоках, взбираясь все выше и повисая в воздухе, заигрывая с квадратным кусочком неба, которое вечерняя свежесть опять окрасила в синие тона — весь день оно было белым, как расплавленный металл, и слепило

арену. Кроме нас, за столиками сидели, может, еще две-три пары, среди них одна английская, мы поклонились ей. Канелла из трех человек — один гитаристы, как мне кажется, — довольно уныло играла танцевальную музыку, стремясь бесцветное исполнение восполнить яркой гаммой костюмов. Не могу не упомянуть о пальме, возвышавшейся в нескольких шагах от того места, где мы сидели. Что за престранное создание — ее маленькие, запрокинутые в небо онахала, казалось, скрежетали, как жестяные, на вечернем ветру, издавая дребезжащий звук, а необычайно высокий ствол, сужавшийся книзу и чудовищно раздутый в середине, был словно отлит из гладкого бетона и походил на взметнувшуюся змею, потревоженную в своем оцепенении, в котором она пребывала, проглотив жертву. Мы сидели, помешивая чай, довольные, что декорации сменились и мы избавились от тех, гораздо менее приятных, что были днем.

Меня словно ударило, когда я увидел, как он, выдыхая извинения, вытягивает свой стул на свободное около пальмы пространство, то есть ближе к нам; я тотчас же, не раздумывая, схватился за кошелек. Это был уличный музыкант, вот он уже благоговейно склонился, как над чудом, над каким-то необычным, похожим на детский гробик черным ящиком, который положил себе на колени, когда садился, — казалось, он разглаживает обеими руками и без того гладкую лаковую поверхность, протертую на сгибах до коричневых залысин, потом он подколунул три серебряные заставки, тронутые латунной желтизной. Я следил за замедленными движениями его рук — я не люблю смотреть раньше времени людям, тем более чужим, в лицо. Уже из одних только обоюдных взглядов часто вырастают обязательства, развязку которых трудно предугадать. Но постепенно я почувствовал, что пристальное разглядывание его рук, если я не прерву его, также впускает меня в историю, потому что это были руки, обладавшие плотью и даже внешностью самостоятельных живых существ, я чуть не сказал — людей, притом людей если и животного происхождения, но деликатного поведения. Не то чтобы они были нежными и тонкими, нет, на них виднелись следы низкого происхождения: мозоли, узоры,

натруженные вены, подагрические суставы, — но все это подчинялось характеру их вкрадчивых движений, придававших им — будь то отстегивание застёжек или извлечение инструмента из лакового футляра — видимость рабского смирения и беспощадной жестокости. Синий бархат был в белесых пятнах, вытерт, обтрепан, как и манжеты, робко сопровождавшие движения рук, и когда ящик был наконец бережно опущен на каменные плиты и инструмент уже лежал на коленях мужчины, то им оказалась пила, самая обыкновенная пила с деревянной ручкой, полотно которой гладко поблескивало. Я испугался, я предполагал, это будет скрипка, потому что первое, что я увидел в футляре, был смычок, правда, плоская форма ящика наводила на мысль, что это будет жалкая, можно сказать безголосая, скрипка, но даже такая, учитывая особенность его рук и характер их движений, не очень бы удивила меня, хотя по трезвом рассуждении я должен был бы отдать себе отчет в том, что такого инструмента в природе просто не существует. Но я был тогда расслаблен — коррида сделала свое дело, — кроме того, внезапно воцарилась тишина: капелла прекратила свою игру, и был слышен малейший звук, даже как мешает ложечкой в стакане моя жена, а уж музыку, будь она хоть самая убогая, и тем паче нельзя было не услышать. Музыкант был так медлителен, что нечего было и думать о скором завершении дела, я вытащил руку из кармана, где у меня лежал кошелек, но в груди осталось тревожное чувство, меня беспокоило присутствие этого человека, выискавшего для своего действия место именно вблизи нас, в то время как соседство других гостей, надежно защищенных против подобных наскоков судьбы правом на ответный юмор, подошло бы ему гораздо больше, чем наше.

Раз уж пила лежала у него на коленях, он больше не тянул, он начал играть. Держа инструмент левой рукой, на некотором расстоянии от себя, он водил смычком по гладкому ребру пильного полотна самой обыкновенной пилы. От прикосновения смычка рождался звук, который своей странной, несколько глуховатой хрустальной чистотой словно уличал во лжи якобы немзыкальный холодный металл, и под легким нажимом левой руки, которая, быстро перебирая, вы-

гибала стальную пилу, жерерастал в знаменитый плач, присущий этому искусству и не нуждающийся в описании, ибо он стоит у каждого в ушах, кто хоть раз побывал на ярмарке или в дешевом варьете. Я напряженно слушал, готовый ко всему неприятному, и молил только об одном, чтобы его номер, раз уж он начался с божьей помощью, скорее закончился и мои деньги, ради которых была затеяна вся музыка, могли бы начать свое перемещение в его карман. Собравшись обсудить с женой размер чаевых, я вдруг натолкнулся на ее невнимание ко мне, уступившее, когда я стал настаивать на своем, место открытой неприязни, я невольно проследил за ее застывшим взглядом и в свою очередь занялся изучением уличного музыканта.

Теперь мне печего было опасаться, что мы встретимся взглядами. Он был целиком погружен в свою игру, опьянен ею, находился в плену рождаемых им звуков, извлекал их со страдальческим, напряженным выражением лица, а когда рыдания пилы достигли своего апогея, на нем появились проблески озарения, почти улыбка; но он тотчас же погасил ее, помрачнел, наклонив голову, как бы вслушиваясь в новый поворот мелодии, словно она не была творением его собственных рук. Так и складывалась его игра из полувзлетов и полупадений, конвульсивных подергиваний, пронизывавших ее и видимых глазу, как мускульные сокращения у низших морских животных. Он пытался довольствоваться простыми, однажды схваченными мелодиями, которые обрывал одним движением левой руки, просто пресекал их, словно это было не обыкновенное пение пилы, а нашептывания злого духа. Его тонкие заломленные брови были строго сдвинуты, а веки — плоские и большие, какие мне никогда не приходилось видеть на живом, не нарисованном лице, — оставались совершенно неподвижными.

Не думайте, что его мелодии отличались оригинальностью или по крайней мере повизной. Это были шлягеры тридцатых или сороковых годов — мелодии его юности, мне они тоже были знакомы, только я не помнил слов. Ему могло быть и тридцать пять, и шестьдесят лет, иногда в мимике его пергаментного лица проскальзывали признаки более почтенного возраста или какой-то затаенной болезни. Череп был туго обтянут

кожей — казалось, она вот-вот лопнет, а па резко очерченных скулах и подбородке, где она давно должна была бы протереться до дыр, кожа выглядела гладкой и ровной, поблескивала, как острое пожа. Таким необычным было это лицо, казалось, оно не ведает страха; мне стало не по себе — с какой нежностью синий музыкант разглаживал свой инструмент, являвшийся, собственно, орудием разрушения, назначением его была смерть, которую он нес зеленой жизни; эта нежность потрясла меня, она напоминала нежность убийцы к орудию своего ремесла.

То, что это был синий музыкант, дошло до меня только потом. Пытаясь оградить себя от капризов Ирэны, я смотрел, чтобы рассеяться, в синее небо, отстукивая пальцами по крышке столика; я прекратил только тогда, когда понял, что отстукиваю в такт с поющей пилой, вот тут-то я и увидел, что музыкант тоже был синим. Правда, его цвет не имел ничего общего с синевой предвечернего неба, блики которого уже играли в бассейне фонтана. Он был мутного, непрозрачного цвета, в сущности серый, сизым назвал я его про себя, чтобы позднее удачнее описать его жене. Собственно, на нем был выцветший костюм синего цвета, в елочку, широкого старомодного покроя с большими лацканами, напоминавший френч и свидетельствовавший о том, что никакого другого костюма у него не было. Он был еще совсем крепким, старательно поддерживался в таком состоянии, сказал бы я, и, вероятно, убирался на ночь аккуратно сложенный по разошедшимся за день складкам под тощий матрац. Шелковый галстук цвета ржавчины слегка топорщился на желтой гофрированной рубашке, а высокие ботинки на пуговицах, как бы испытывая блаженство, покоились, расставленные в стороны, на полу. Я не представлял себе, чтобы в этой стране можно было сберечь от износа ботинки, но они производили именно такое впечатление — очень старых, но тщательно оберегаемых. Манжеты брюк были слишком широкими и болтались над тонкими щиколотками. Конечно, страдания, если этот человек страдал, сделали его постепенно невосприимчивым ко всему остальному. Но деньги, которые я перебирал в кармане левой рукой, вовсе не предназначались для возмещения всех его лишений и бед.

Я чуть не сказал: потом он подсел к нам. Но это было бы не совсем правильно. Кончив играть, он поставил пилу на край стула, между ног, положил смычок на колени и подвинулся со стулом едва заметно в нашу сторону, не делая попытки приблизиться к нам. Это был незначительный и в то же время недвусмысленный жест благоволения к нам. Признаюсь, я очень испугался, потому что понял, что теперь не отделаюсь теми чаевыми, которые взмокли в моей руке, и от этого не сразу услышал, что он начал говорить: правда, он говорил как бы для себя, но одновременно и с нами. Глаза его были теперь открыты; не поднимая их ко мне, а тем более к моей жене, он беспрестанно кивал. Кивая, он подбадривал себя, по-видимому чувствуя, что мешает, похоже, он вообще привык к тому, что мешает, правда, он пытался несколько поправить положение своей музыкой, хотя не мог не понимать, что только усугубляет этим дело. Я был так убежден, что он говорит по-испански — язык, который я, особенно здешнее наречие, почти не понимаю, — что я возвел глаза к небу, чтобы не смущать его ложным вниманием. Только когда я увидел, как моя жена, краснея, кивает ему в ответ, я заставил себя прислушаться повнимательнее и обнаружил, что маленький человек говорит по-французски, во всяком случае на том языке, который он считает французским. Это был, если не обращать внимания на исключительно плохое произношение, довольно корректный, я бы сказал, официальный французский, он пользовался выражениями, знакомыми мне по деловой корреспонденции, которые ничего не таили в себе, кроме шороха бумаг, вежливое заполнение пустоты отношений, существующих между посторонними людьми. Я спросил потом у Ираны, о чем, собственно, говорил синий музыкант, потому что мне так и не удалось собрать его слова воедино, даже после того, как я заметил, что он говорит по-французски, но она сказала: «Оставь меня, пожалуйста», да, она так сказала.

Я должен слишком напрячь память, чтобы теперь, когда Ирана с ребенком покинула меня — ведь я не понял тогда, что она совершенно серьезно предложила мне оставить ее, — подумать о вещах, о которых синий музыкант определенно говорить не мог. Он не говорил

о своей жизни, не рассказывал никаких историй, не называл даже своего имени, ничего не просил. Мне тогда казалось, он поздравил меня с моей женой, шептывая мне, в каких бесконечно счастливых обстоятельствах я пребываю, и очевидно тогда было только одно: кивала ему моя жена, а говорил он скорее со мной. Не понимаю только, как могла кивать ему моя жена, разве это принято, когда комплименты предназначены тебе самому. Впрочем, у южных людей любезности легко слетают с уст, особенно при виде прекрасного, независимо от того, доступно оно им или нет. Но тут я сразу почувствовал, что вмешательство музыканта дорого мне обойдется, хотя я и не мог предвидеть всю его истинную цену: крах семейного благополучия, моего стабильного положения и утрату привычного образа жизни. Оставалось совсем немного, чтобы мне еще отказали и от места, потому что к тому, кого покинуло счастье, и все остальное в жизни поворачивается спиной. Эту последнюю беду я сумел отвести, только полностью отдав себя делу, почти слепо растворившись в нем, лишив себя тем самым всякой перспективы повышения. Кто так работает, как я в эти последние недели, у того совесть нечиста, подумают про себя шефы, он внушает недоверие, за ним надо хорошенько понаблюдать; уж кто-кто, а я-то знаю, что самого страшного надо ожидать, когда за тобой хорошенько наблюдают.

Когда музыкант кончил говорить, он стал играть на бис, для моей жены, насколько я его понял; и то взаимопонимание, которое ему удалось установить со всеми присутствующими, привело к тому, что по знаку хозяина трехголосая капелла появилась, к моему величайшему смятению, у нашего стола и приготовилась аккомпанировать следующему номеру пилы, придав своим лицам типичное для южан покровительственное выражение. Музыкант, казалось привыкший к тому, что его лишь терпели в этом заведении, сыграл, бледный от смущения и волнения, «Кукурукуку» — так вроде называлась мелодия. Когда один из гитаристов ломающимся и срывающимся на фальцет тенором выводил трель в этой последовательности слогов, на лице музыканта появлялась гримаса, словно он страдал от сознания, что этот беспардонный тенор разрушает со-

вершениство, а он бессилен что-либо сделать. С тем большей страстью ударял он своим трепещущим смычком по пиле, как только замирал голос и трое гитаристов в ярких костюмах скорее с лукавством, чем с почтением, уступали ему соло, отходя даже на шаг, а их толстые пальцы тише ударяли по струнам. Я сидел в полной беспомощности, обливаясь потом, желая только одного, чтобы все это скорее кончилось; я боялся синего музыканта, ну что я мог предпринять со своими мизерными чаевыми — поющая пила вонзилась слишком глубоко.

Он не хотел брать деньги, которые я, сделав несколько шагов навстречу, пытался всунуть ему в руку. Мне пришлось ждать, пока он снова уложит свой инструмент в ящик, что он проделывал, как мне казалось, с изощренной медлительностью. Я и сейчас еще вижу, как стою в патио — в полном одиночестве, как мне кажется, хотя чувствую на себе взгляды нескольких пар глаз. Слегка наклонившись вперед, я стою у пальмы, опираясь в ожидании о ствол рукой, с трудом держащая его, в сущности, безвинное, но при сложившихся обстоятельствах все же надменное поведение, — стою с протянутой рукой, в которой похрустывают бумажки, предназначенные для этого спокойно занятого своим делом человека. Может, я хоть раз обернулся назад и улыбнулся кому-нибудь? Никогда в жизни, с самого детства, я не чувствовал себя таким ненужным, таким отверженным, как в тот момент полного пренебрежения ко мне, казалось длившегося вечность, на самом деле прошло лишь несколько секунд — секунд моего видимого всем промаха и позора.

Потом он взял деньги, взял как-то поспешно, чтобы скорее покончить с этим, словно ему было неприятно; я обомлел, ведь то была сумма, которую не берут просто так, не придавая ей значения, но он взял именно так и не иначе, стараясь как можно скорее избавить мою жену от испытываемого ею чувства стыда. Он низко поклонился, я смотрел на его черные, зачесанные прядями назад волосы, так и не закрывшие желтый отполированный череп. Он застыл в этой позе, словно обнажая свою нищету и мое убожество. Потом он что-то прошептал, взял свой ящик, еще раз поклонился моей жене и засеменил, вздернув плечи и опу-

стив голову, между столиками к выходу, под сень сводов, тут же поглотивших его.

Я опять сел. Мы ни о чем не говорили. Я ждал хоть слова от своей жены. Я даже не решался помешать чай, мне был нанесен смертельный удар, я чувствовал себя затравленным зверем. Я вытолкнут из общества, говорил я себе, хотя никто вокруг меня не прилагал ни малейших усилий, чтобы дать мне понять, что я здесь лишний. В этом было какое-то странное утешение. Зачем я взял этот отпуск, зачем приехал в эту страну? О моей жене, сидящей рядом, я даже не смел думать. Мне надо было решить — покончить со всем сейчас или несколько позже.

Я поднялся, коротко кивнул ей и бросился к выходу. Прежде чем выйти на улицу, пустынно зияющую в проеме арки, я обратился к портье и спросил его, задыхаясь — десять стремительных шагов заставили меня задохнуться, — как зовут этого человека, куда он мог пойти и где живет. Его звали Гонсалес, больше портье ничего не знал, махнул только в сторону пустых улиц, где тот исчез, растворившись в сумерках тишины. Я побежал, доводя себя до крайнего возбуждения, окружающая пустота распирала мне грудь, не вмещаясь в ней, я терся о воздух, словно он был чем-то твердым, и мне все было мало и мало. Я бежал вверх по улице, потом вниз, дома расступались предо мной, мои шаги становились короче, они были гулками, а дома молчали. Несколько человек прошли мне навстречу, кое-кого я обогнал, все они были до смешного материальны, но мое воспаленное сознание проглотило их залпом, и они исчезли, коротко хихикнув или шипя, возможно, я кого-то толкнул, меня это несколько не трогало. Уже много лет я так не бегал, собственно, я уже не мог так бегать, при каждом шаге сердце подсказывало мне, что оно так не может, что оно вот-вот разорвется; разрываясь, говорил я ему, и мы бежали дальше. Мое сердце бежало быстрее меня, и в этом не было ничего удивительного, потому что я вообще больше не бежал, я плелся, и только ноги не давали мне упасть, а в руке я сжимал свой кошелек, у меня не было никакого другого выхода — я должен был отдать ему все. В переводе на франки их было больше тысячи — целое состояние для синего музы-

капта, денег было больше, чем он их видел за всю свою жизнь. Я ничего не оставлял себе, только обратные билеты, не было даже денег, чтобы оплатить отель, нам пришлось бы что-нибудь придумать, а если бы не вышло, это был бы конец, но ведь Ирэна хотела именно конца. Тысяча франков синею музыканту; у меня перед глазами возникла его фигура — олицетворение крайней нищеты, которая, отделившись от его плоти, превратилась в мою погибель, я мог разделаться с ней одним-единственным движением моей руки, сжимавшей кошелек, который сейчас, вот в этот момент моей жизни, был еще очень нужен мне. Обезумев от напряжения, стучавшего в висках, я ощупывал невидящими глазами голые стены, безлюдные переулки, в которых роились сумерки, синие сумерки, утратившие свою подлинную синеву. Я спрашивал у всех, где живет Гонсалес, эти три слога почти беспрерывно слетали с моих уст, по губам текла слюна, да, я превратился в затравленного зверя, теперь мне это было ясно даже самому. Но здесь каждого звали Гонсалесом, а других подробностей я о нем не знал. Никто не мог мне помочь, я даже не знал, как называется на местном наречии поющая пила — меня посылали по очереди то к слесарю; то к автомеханику, то в ночное кабаре, то в магазин грампластинок, потому что никто не мог понять, как связать воедино пение и пилу, и везде кого-нибудь звали Гонсалесом, и этот Гонсалес носил усики и поднимал удивленно брови, но не был тем, кого я искал. Наконец одна учтивая пожилая дама, понимавшая немного по-французски, вообще понимавшая несколько больше, чем другие, и даже слышавшая только что поющую пилу, указала мне на следующую улицу: там я найду дом — отель, название которого я тотчас же забыл, но описание фасада запомнил очень хорошо, — в этом отеле маленький человек бывает каждый день после обеда и развлекает гостей своим искусством, она только что проходила мимо, она только что слышала его. Я почти успокоился, а может, мое сердце заработало самостоятельно, без поцуканий с моей стороны, я поблагодарил ее, повернулся и пошел туда. Я нашел по описанию фасада отель, это была одна из тех гостиниц, в которой останавливаются местные, прекрасно ориентирующиеся в здешней обстанов-

ке и не нуждающиеся в заманчивых рекламах и афишах. То был отель, где стоило бы остановиться и нам с Ирэнкой, где сипий музыкант, может, играл бы без инцидентов, и мне почти уже казалось, я слышу, как поет его пила, я прошел в ворота с поднятой головой, словно возвращался с прогулки. Здесь тоже был внутренний дворик, как и у нас, и гости, сидевшие за столиками и пристально смотревшие на мой кошелек, были похожи на гостей нашего отеля, бетонная пальма росла здесь тоже, только изогнулась в другую сторону. И затейливый фонтанчик здесь тоже был. Он не работал. Семья англичан живнула мне, французы рассматривали меня с любопытством. Я вошел в свой собственный отель, только с заднего входа.

Я медленно прошел к столику, за которым мы сидели. Гарсон убирал стаканы, но мы вовсе не пили из стаканов. Увидев, что я стою, он сделал рукой, через которую была перекинута салфетка, жест, приглашая меня сесть. Я покачал головой. Пальма уже выгибалась в пужную сторону. Я попытался прислушаться.

Из кухни доносились звуки. Внутри, в ресторанным зале, накрывали столы. Целая флотилия корабликов из накрахмаленных салфеток выстроилась вдоль сипеватого великолепия столов.

Он приходил еще раз? Портье покачал головой. Я убрал кошелек.

— Завтра, как всегда, — сказал портье.

Свою жену я пашел в комнате. Она извинилась, что не дождалась меня. Она была очень возбуждена. Она взяла в киоске сувениров несколько сумочек — недорогие и симпатичные сумочки местного производства, — и я должен был помочь ей выбрать.

Моя жена нуждалась сейчас в бережном обращении.

Поздно ночью она сказала:

— Тебе снился плохой сон, мне пришлось разбудить тебя.

После завтрака она все же решила взять другую сумочку. Я оплатил ее. Таким образом, деньги в кошельке убавились. Уже стало невозможно отдать все, что я имел. Но тут моей вины не было. После обеда мы совершили прогулку. Она была недорогой, но мы опять что-то истратили. Потом мы пили чай. Человек

в синем не появился. Моя жена не могла нарадоваться на свою сумочку. Это был наш последний день. На другое утро я рассчитался за отель. Перед обедом мы уезжали. Полет прошел очень спокойно.

Теперь я живу в небольшой меблированной комнате. Иногда издали я вижу свою жену. Она подталкивает детскую колясочку, а на руке у нее висит сумочка, на которой она в конце концов остановилась. Обычно она ходит быстрее меня. Каждый день я говорю себе, что теперь уж со мной ничего больше произойти не может. Но я в это не верю. Я даже не знаю, что теперь будет со страхованием моей жизни.

Осенний лес, прощание с красотой.

Стою по щиколотку в опавшей листве, сморщившейся от первых ночных заморозков. В вышине то ли дрожат детские ладони, то ли колышутся флажки, в которых застревает рассеянный свет, там он кажется более ярким; на ветвях янтарь, пергаментные листья. Облетевшие деревья — словно мачты с убранными парусами. Они видны на сотню метров вдаль, покуда не тают в тумане. Лес-корабль, выгрузив лето и осень, так и будет всю зиму стоять порожним. За моей спиной неуверенные лучи солнца вяжут сетку, опутывая олений загон, петли соскальзывают, блестя, как паутина, а за сеткой темнеют спины оленьего стада, где выделяются белые пятнистые шубки детенышей. Стадо, видимо, насторожилось. Олени хоть в каком-то укрытии, а я свое уже покинул, спасаюсь от дрожи, сунув руки в карманы легкого бархатного костюма, из которого вытекает тепло долгой поездки в машине.

Мой взгляд скользит по домикам детского сада (стиль бунгало), мимо пустых красных прямоугольников двух теннисных кортов до катка не遠деке и тонет в потоке ноябрьского дня, сливающимся с морем домов; надо мной некое подобие полуденного неба, что подтверждает одинокий колокол: к шуму отдаленного шоссе добавляется одиннадцать его резких ударов — стало быть, уже одиннадцать часов, — а мешанина звуков на катке кажется мне громче, чем на самом деле, и тревожит память, словно ей нужно добраться не до моего слуха, а до моей совести; я не был на катке целую вечность, Маат, но тебе-то я мог купить коньки.

А может быть, это просто оттого, что мне самому хочется размяться: я все еще мерзну, чертовски мерзну, и если вздохнуть поглубже, то коченеешь еще сильнее, потому что невозможно выдержать, пока лишний

кислород обратится в тепло. По части химии я всегда был слабоват. Опрометчиво оставил плащ в машине, видно, собирався шагать рядом с Маатом в расстегнутом пиджаке, чтобы можно было в любую минуту затеять с ним игру, в которой плащ только помешает, например подбрасывать парня высоко над головой. Прежде мне нравилось подкидывать его вверх, и он падал почти до самой земли, так что от удовольствия крик замирал у него в горле. Когда же я наконец тебя ловил, чего-то недоставало твоей радости, да и моей улыбки тоже.

За окном комнаты, обклеенным бумажными елками, мелькают фигуры; если это его комната, то, может быть, он меня уже заметил — заметил мой неясный силуэт под деревьями, силуэт человека, которым пугают детей. Из дверей высыпает ватага ребят, один мальчишка выделяется своим невероятно смуглым, жирным лицом прокуриста, они мчатся, останавливаются возле меня и извлекают откуда-то из-под опавшей листвы палку. Я стою себе молча, в сторонке. Еще одна стайка, а Маата опять не видно, пу и конупна, хотя в прошлый раз он не заставил себя ждать.

— Стоп, — говорит маленький прокурист и тычет палкой в нескольких девочек, — ну ты, поганка, выходи.

Одна девочка, в очках, оказалась в западню между палкой и забором.

— Я сейчас, следом, — мямлит она чуть слышно, но подружки ее уже убежали, даже не обернувшись.

— Гляди, как с ними надо расправляться, — говорит смуглый своему дружку и теснит девочку к забору. Затем с размаху бьет ее палкой по спине. Палка переламывается. Обломком он изо всех сил лупит ее по животу. Она и не пытается удрать и даже не кричит, будто от ударов совсем спятила.

— А ну прекрати, — говорит человек, которым, собственно говоря, пугают детей, подходит к прокуристу и хватает его за шиворот.

— Чего вы суетесь, — говорит тот, трусливо втянув голову в плечи, потом немного отступает и останавливается. — Мы же играем.

Девочка может убежать или спрятаться за меня, но ни того ни другого не делает. Маленький прокурист

тоже замер неподалеку. У меня такое чувство, словно я разнял сцепившихся кошек. Мы молча стоим на своих местах, эти аборигены и я, первым не выдерживает прокурисст, презрительно хмыкнув, он вразвалочку удаляется, насвистывая и подбрасывая на ладони обломок палки. Только теперь девочка с затравленными глазками за стеклами очков решается приблизиться ко мне и начинает что-то допотать. Я смотрю поверх забора.

— Ты знаешь Михаэля? — спрашиваю я наконец, не люблю быть молчаливым чужаком, а кроме того, я уже начинаю терять терпение: куда же запропастился этот Маат, он же знает, что я его дожидаясь. При девочке я называю его Михаэлем: думаю, что для него так и не удалось придумать уменьшительного имени или что так называемая тетя уменьшительные не употребляет. Здесь дети привыкают к своим полным именам, которые их матери почерпнули — разумеется, из самых лучших побуждений — из светской хроники или в косметических лавках: Даниэла, Рафаэль, Петра, однако тут попадают и какие-нибудь Аттильо или Луиджи; может быть, маленький прокурисст как раз из таких? Тогда, наверно, он сумеет ответить, почему его так тянет в драки? Кажется, девчушка не слушает моих вопросов, она уцепилась за карман моего пиджака, по ее сонливым, вялым движениям я сразу догадываюсь, почему ее задирает каждый, кому не лень. Она лопочет про какой-то перекресток, где красный, желтый и зеленый чередуются слишком быстро, и тянет меня с собой удостовериться в этом. Конечно же, все дело в том, что она боится Луиджи, который притаился за углом, чтобы свести с ней счеты по законам здешнего племени, а может быть, он как раз в это время сводит счеты с моей машиной. Для девочки я ни спаситель, ни человек, которым пугают детей, — скорее своего рода полезный истукан. Даже если она и не поганка, то, уж во всяком случае, настоящая прилиппала. Из дверей высыпают новые гномики. А вот и Маат.

Среди своих одноклассников он выглядит настолько пришибленным, что даже и не пытается идти впереди своей компании; я машу ему рукой. Он дурашливо бежит по дуге, удлиняя путь, что-то кричит, но не мне. Ясно, что ребята не принимают его. Я разжимаю паль-

цы девочки и слегка отталкиваю ее от себя. Маат с виду кажется более худым, чем другие ребята, голубые глаза на его напряженном, узком, шпанистом личике недоверчиво следят за мной, и все-таки он подходит ближе, плетясь за группой, где он отвергнут. Я стою неподвижно, словно одно из деревьев, — нечто вроде кормушки, которой можно воспользоваться или пренебречь в зависимости от степени голода. Последняя короткая дуга около меня, потом — ко мне.

— Привет, — говорю я.

— А где ваша машина?

— Неподалеку. — Кивком я указываю в сторону города.

— Вы поедете в зоопарк? — спрашивает он.

— Да мы там были прошлый раз.

— Ну что ж, тогда на озеро.

Я дал себе зарок с ним больше не миндальничать. Я говорю:

— У нас не так много времени. Почему бы тебе не показать мне зверей в вашем парке? Например, кабанов. Я не видал их несколько лет.

— А мне они порядком надоели, — говорит он.

Мы идем рядом по густой опавшей листве, он вспыхивает ее ногами. Когда мы выходим на ровную дорожку, он продолжает двигаться нарочито размашистым шагом. Я оборачиваюсь назад: девушку так никто и не подобрал, она все еще топчется у забора. Видимо, мне и вправду следовало бы перевести ее через перекресток, потому что она не различает цвета, а может, она придурковатая или просто сирота.

— Ты знаешь эту девочку?

— Нет, — говорит он, даже не взглянув в ее сторону. — А жвачку вы мне кушите?

Я стараюсь идти в том же темпе, что и он, добросовестно отвечаю на его вопросы, занятый своими мыслями, но все же не настолько, чтобы разговор совсем заглох. Когда Маат был меньше, а промежутки между моими наездами казались ему дольше, он поначалу был всегда со мной на «вы», потом «вы» уже относилось к *нам*; «ты» он говорил, только когда в чрезмерном возбуждении, сам того не замечая, путал меня со своим дедом; «ты» было признаком его возбуждения. Раньше он брал меня за руку сразу, теперь — нет.

Если бы не загородка, олени подошли бы к нам вплотную. Он идет не останавливаясь, подрагивающий бархат оленьих морд дышит на нас предым сеном. Не глядя на сетку, он бьет по ней рукой, несколько оленей неуклюже шарахаются в сторону.

— Нож еще цел? — спрашиваю я.

— Куда-то подевался, — отвечает он.

У— Потерял, что ли?

Он кивает.

— Пошли к машине, — говорит он.

— Потом я отвезу тебя домой.

— А до этого что будет?

— Где-нибудь пообедаем.

— У озера?

Парень он упрямый. До озера езды целый час, а в моем распоряжении всего-то три часа, затем мне надо в другой город, где я должен выступить с речью перед любителями политических деликатесов. И потом, какие могут быть лодки в середине ноября.

— Уж во всяком случае, возле воды, — говорю я и указываю на реку.

Перед клеткой, в которой истерически мечется золотой фазан, прохаживается его свободный собрат, чинно ступая на свои куриные лапки.

— А ведь это всего-навсего обычные куры, — говорю я, — разве ты не видишь?

Смысл моих слов до него не доходит.

Я рассказываю ему про пбисов, говорю, что некогда они считались свящепными.

— А мне нравятся воп те, — говорит он.

У тех, что ему нравятся, шеи отливают металлическим блеском, а на зрачках темно-оранжевые круги. Э, Маат, да ты падок на дешевку. Мы прикидываем, к какой из птиц может относиться та или иная табличка на клетке. Не всех птиц удается опознать. Неопознанные птицы порхают по клетке, не обращая внимания на таблички.

— А здесь что написано? — спрашивает он.

Он мог бы и сам прочитать, правда только по слогам. Я смотрю на него с уважением: откуда это в нем — нежелание быть выскочкой?

— Все равно итальянцы их сожрут, — говорит он. Вход в платную часть зоопарка находится в зда-

нии с вольерами. Девушка в кассе, помимо входных билетов, продает еще корм для птиц и шоколадки.

— Шоколадку получишь потом, — говорю я, — а то перебьешь себе аппетит.

— Через десять минут мы закрываем, — объявляет кассирша, продав нам билеты и шоколадку.

— Пошли, — говорю я, — прибавь-ка шагу. — И беру его за руку.

Он не отдергивает ее. Я нарочно иду быстро, чтобы разгорелось его лицо.

— Где шоколадка, — спрашивает он без вопросительной интонации, — не суй ее в карман, я не люблю мягкий шоколад.

Оказывается, шоколадка торчит у меня из кармана.

— Обожди-ка.

Он останавливается перед клеткой с мышами. Это что-то вроде картины на степе, маленький застекленный прямоугольник, внутри него стоит цементный чурбан с выдолбленными бороздами-коридорчиками — игрушечный лабиринт. Расширяясь к середине, он образует гнездо, где, сбившись в кучу, сидят четыре задыхающиеся белые мыши; наверно, ими здесь кормят змей, но, пока им дано пожить, выставляют напоказ; так можно представить себе мышиную нору в разрезе, стеклянная пластина как бы рассекает окаменевшую землю. Михаэль кладет ладони по обе стороны прямоугольника, уткнувшись носом в стекло, всего лишь в двух миллиметрах от мышей, у которых из-за этого наступили сумерки.

— Пошли дальше? — спрашиваю я. — Поглядим на лесных котов?

— Зачем, — говорит он и пытается еще больше сгустить сумерки в мышиной норе.

— Пошли, — говорю я, — на воздухе куда приятней. — Ну я пошел один, — говорю я и иду, пусть себе теряет дорогих семь минут на своих мышей.

Маат догоняет меня, шаркает по листьям чуть позади.

— Где же ты пож посеял, — говорю я. — Такие пожи не теряют. Особенно раз ты его так просил.

— Эти тоже куда-то пропали, — говорит он, кивая на клетки для котов. — Им на клетку свалилось дере-

во и разбило ее, вот они и убежали. Чего ты так припустил?

— Да вот же они, — говорю я и мысленно глажу злой упругий плюш, в позе кота — и расслабленность и сосредоточенность: в любой момент он готов вытянуться в прыжке, на мгновение расширит прорези глаз — ага, попался! — и поводит ушами, так что тоненькие волоски на них вздрагивают от малейшего движения воздуха.

— Двух они вернули, — говорит Маат, — только двух. А третий все еще где-то бродит. Медленно помирает с голоду. Со временем издохнет.

Я не отвечаю, смотрю прямо на котов, но уголком глаза замечаю настороженный взгляд Маата.

— По-моему, они слишком *маленькие*, — говорит он. — Смотри, уже кто-то идет. Пора уходить.

Он прав. Перед пеликанами, у самого выхода, появился служитель, он смотрит в нашу сторону, приложив руку ко лбу козырьком. Очевидно, мы стоим на солнечной стороне, солнце теперь и вправду поднялось над голым лесом.

Я оборачиваюсь, беру его за руку и быстро иду. Я мог бы выпросить у служителя еще несколько минут, но мне не хочется.

— Ну вот, а волков ты не повидал, — говорит Михаэль, держа меня за руку и задыхаясь от злорадства, — и рысей, и даже бобров. А все они *больше*, чем коты.

— За это ты мне покажешь кабанов.

— Если потом заскочишь ко мне, я покажу тебе Раффи.

— Это кто? — спрашиваю я.

— Не скажу. Ра-фа-эль.

Служитель спрашивает:

— Есть там кто еще?

Мы никого не видели.

Пока он запирает ворота, я еще раз оборачиваюсь. Ноябрьский лес светел, будто ранней весной. Сквозь сплетения ветвей на деревьях проступают бездвижные белые острова облаков.

А вот и река. Иссиия-черная и непроглядная, как волосы индейца, она вяло течет мне навстречу и скользит по плоским порогам, отчего вода становится

еще гуще и ленивее. Неподалеку очистная установка пускает в реку белые пятна, похожие на плесень или взбитый белок, мимо них незаметными толчками проплывают белые в крапинку лебеди. Более редким и изысканным водоплавающим, находящимся в ведении зоопарка, отведена особая протока, защищенная замысловатой чугунной решеткой. Из-за решетки кажется, что у пекинских уток раскосые китайские глаза, а аисты точно сошли с картинки из какой-нибудь детской книжки.

Теперь, сидя за столом как пай-мальчик, в вязаном жакете с большим кольцом на молнии — комбиназон он бросил на спинку стула (я аккуратно расправляю его), — мой сын пытается выяснить подробности моей личной жизни.

— Куда ты собираешься?

— Ты уже знаешь.

— Откуда ты сейчас приехал?

— И это тебе прекрасно известно.

— А кто еще бывает с тобой? Кроме меня?

— Моя жена. Александр.

Попутно я выискиваю в меню, что бы такое заказать для нас обоих. Малиновое мороженое — это у него сразу на языке.

— Может, взять тебе королевский паштет?

Более изысканно забытые породы животных для него пустой звук. Но слово «королевский», знакомое ему по книжкам, завораживает его.

— А мне, девушка, пожалуйста, шницель из оленины. Она ведь у вас свежая, да?

Будто хоть в одном из ресторанов мира на этот вопрос можно услышать отрицательный ответ. Если угодно, там еще стоят олени, свежее не бывает. В окно видна река. Вода стала совсем как деготь, но все же пылает на солнце. Знать бы, как тут опускают шторы, можно было бы не отворачиваться от ее слепящего блеска.

Наконец проклятые шторы опускаются сами собой, на всех окнах. Неожиданно слепящий блеск исчезает, контуры за другими столами становятся пластичными, теперь видны и лица посетителей; здешних жителей сразу распознаешь по их особому выговору. За это время Михаэль тоже перенял у них эту манеру говорить.

— Все-таки любопытно, кто же такой Раффи.

— Угадай.

— Его зовут почти так же, как и тебя.

— А еще кого так зовут?

— Ангела.

Маат удивлен.

— Выходит, меня зовут, как ангела?

— Михаил и Рафаил — имена архангелов.

— Но их же нет.

— Да, их нет.

— А Раффи есть.

— Раффи — это что, зверек?

Маат пожимает плечами и ужасно жеманится.

— Хомяк, да?

— Скажешь тоже, хомяк, они же совсем маленькие.

— Осел?

— Откуда же у меня может быть осел? Для него у нас не так много места.

Сперва приносят королевский паштет — коричневая шапка в лужице соуса. Я беру вилку и превращаю эту постройку в кашицу, из чего она и была воздвигнута. Михаэль покорно принимается за еду, еда так или иначе остается для него работой, если это только не десерт. Он никогда не испытывает голода, говорит его мать, он ест слишком много сладкого.

Здесь, в ресторане, он ведет себя солидно, держится так, как того требуют от него высокий стул, полный столовый прибор и чужой отец; он даже удостоился похвал официантки. Держа вилку за середину черенка, он поглощает кашицу, все чаще задерживает ее во рту, дожидаясь, пока она чудесным образом не растворится сама собой, и хватается обеими руками стакан, края которого покрыты катышками паштета. Он пьет уже второй стакан; этого ему достаточно, чтобы отодвинуть от себя почти полную тарелку паштета. Старик собственноручно подкармливает его двумя ложками салата, как в прежние времена, когда он был еще маленьким, а беспорядок в мире — большим. Право, не стоило тебе из-за этого оставаться таким бледным, Маат.

— Еще салат будешь? Нет? Ну тогда налегай на мороженое.

Мороженое он ест медленнее, чем я предполагал,

видно, привык растягивать удовольствие; я, не торопясь, могу догнать его со своей оленинной.

— Сейчас приготовим из этого крем, — говорит он и чертит ложкой мраморные жилки на дне вазочки, малине и фисташках.

Я уговорил его взять этот сорт мороженого, хотя ему больше хотелось шоколадного. Но, во-первых, у меня в кармане припасена плитка настоящего шоколада, а во-вторых, почему бы ему не отведать чего-нибудь новенького, раз уж этого так хочется его отцу? Между прочим, Рафаэль — это кролик. Он живет у него со вчерашнего дня, и Маат держит его в своей комнате.

— А в Биле, куда ты едешь, тоже будут фисташки?

— Да, Маат, в Биле тоже будут фисташки.

— А там, откуда ты приехал?

— Тоже.

— Ты угостишь меня фисташками, когда я приеду к тебе в гости? А кто еще будет есть фисташки, кроме нас?

— Как кто? — Следует мне еще раз сказать правду? — Моя жена.

— И Александр?

— Ему рано, он еще очень маленький.

— Он что, даже фисташки не умеет есть?

— Даже фисташки.

Другие подробности из нашей жизни его не интересуют. Мне приходится отказаться от кофе, принести в жертву свою привычку, но что за радость ему скучать, пока я пью кофе, ведь он уже съел все фисташки. Из кармана я достаю куклу, просовываю средний палец в ее головку, большой палец — в левую руку, а безымянный — в правую. Эта куколка — кустарная поделка. Дождь светлых волос стекает с ее головы по двум зеленым пуговкам глаз и кожаному посику. На ней рубаха в красно-белую полоску, а сама куколка приняла у меня на руке несколько заносчивый и взбалмошный вид, потому что моему скрюченному указательному пальцу негде поместиться в ее груди. Но головка и ручки ходят свободно, сгибаются, а в этом-то все и дело, да, Маат?

— Откуда она у тебя?

— Из Швеции.

— Чья она?

— Твоя. Про нее был рассказ в книжке, которую я привез тебе прошлый раз. Помнишь? Мумина и Мумрика?

Он не помнит. Его мать могла бы почитать ему эту книгу. Уж только потому, что она нравится мне, она не может быть скучной.

— Как ее зовут?

— Там внутри написано, — говорю я, задираю на кукле рубаху и читаю непривычное имя.

— Дай поддержать.

— Это колдунья, — говорю я, не вполне уверенный, удачно ли это придумано.

— Колдунья? — спрашивает он и запускает руку в куколку. — Добрая?

— Там, откуда она родом, стоят долгие зимы, а потому тамошним жителям нужно много добрых колдунов.

— А это что, самая добрая?

— Посмотри, какие у нее волосы, и поймешь сам.

Он трясет ее. Затем соскальзывает со стула и начинает носиться по залу, размахивая своей нарядной рукой с торчащим носом и двумя кулями.

— Я колдун, — кричит он.

Он кричит непринично громко, от крика он сам не свой. Люди смотрят на него сперва удивленно, затем улыбаются, дурачье. Ребенок с куколкой па руке милей им всего серьезного на свете. Но вел бы он себя тихо! Он уже начинает действовать им на первы. Когда они смотрят на меня, на человека, которому надлежит отвечать за ребенка, их губы непроизвольно поджимаются. Он играет куклой в самолет, жужжит, подражая шуму мотора, и кружит ее прямо возле тарелок, плащей, поджатых губ; он весь ушел в игру. Шум нарастает, круги становятся уже, он подыскивает посадочную полосу, я почти предугадал ее, это будет моя шея, колдунья садится мне на шею и хватает меня сзади за воротник. Я подворачиваю воротник, тогда колдунья, унося под рубахой тепло своего тела, скользит — теперь уже бесшумно — по моим волосам к макушке, раз и потом второй. Те, чей покой он нарушил, вновь уткнулись в свои тарелки; колдунья, осторожно ступая по моей голове, растворяется в какой-то звенящей пустоте.

— Пошли, — говорит Михаэль. — К машине. — Он верен себе. — На кабанов уже не осталось времени, — добавляет он.

— Почему? Где же они?

— Далеко-далеко впереди, я думал, ты знаешь. Пора в машину, а то опоздаешь.

— Но я еще должен увидеть Рафаэля, — кричу я ему вслед, так как он побежал вперед.

Он давно уже стоит возле моего «крайслера» и водит пальцем по прожилкам ржавчины на белом лаке.

— Да она же у тебя рассыпается по частям, — говорит он, — в жизни не видал такой развалины.

— Это от того, что ее часто мыли, — говорю я, издав протяжный вздох. — Сядешь вперед или назад?

— Вперед.

— Значит, давай пристегивайся.

Но сперва ему, оказывается, надо нажать на все кнопки. Изнутри «крайслера», что ни говори, шикарная машина. Он нажимает сигнал. Раз, еще раз. Я смотрю, как там олени, но на нас обращают внимание только прохожие.

— Хватит, Маат. Н — значит нейтральная, ладно, сперва я заведу мотор, но уж потом ты точно пристегнешься. Пойми, речь идет о твоей жизни, Маат, и здесь я могу тебя пристегнуть даже насильно.

Я ставлю рычаг переключения скоростей в положение Д. «Крайслер» плавно трогается, как корабль, слегка поперхнувшись, издает утробное урчание.

— А это у вас зачем? — спрашивает он про подголовники.

Я рассказываю ему историю про одну автомобильную катастрофу, объясняю, не сводя глаз с дороги, что такое центробежная сила и сила инерции. Михаэль настаивает на том, что при любой аварии летишь *только* вперед. Так говорила сама мама. Вот почему и надо пристегиваться.

— Если удар будет спереди, тебя бросит вперед, если же тебе кто-нибудь поддаст сзади, полетишь назад.

— Меня лично бросает *только* вперед.

— Будь по-твоему, Маат, пусть у тебя будет своя собственная физика. На, можешь съесть шоколадку целиком, я же понимаю, что пора тебе наконец полу-

чить ее. Стало быть, в вашей машине нет даже подголовников, — говорю я.

— А они нам и не нужны, — отвечает он. — У нас есть все, что у тебя, и даже намного больше твоего, а потом, у нашей «симки» и гудок лучше. — Он вырывает руль из моих рук и нажимает на гудок.

— Угомонись ты, шалопай, — говорю я. — Сделаешь это еще раз на дороге, я тебе так всыплю. А вообще-то все эти машины выпускает один завод, что «крайслер», что «симку».

— Твою делали *раньше*, — говорит он. — Сейчас они делают такие, как наша.

— Мне бы тоже больше хотелось «симку».

Он косится на меня со стороны: этого не может быть. Я плавно останавливаю машину, демонстрируя класс вождения. Но Маат, естественно, оставляет мое мастерство без внимания. Он уже выскочил из своих ремней.

— Теперь поиграем с Раффи.

— Сперва падо узнать, согласен ли Раффи, — говорю я и здороваюсь с его матерью.

— Вот, — говорю я. — Он меняется каждые две недели, растет, ты не поверишь. — На ней новый брючный костюм.

— Выкурю сигарету и поеду, прости, — говорю я, — мне и так следовало бы давно отправиться в путь.

Маат стремглав бежит в дом. Мы идем медленнее. Войдя в комнату, она включает проигрыватель. «Атлантис» чем-то похож на «Хей Джуд», только намного хуже, но я предпочитаю не высказываться. «Хей Джуд» тоже немного устаревший шлагер, мы больше не спорим о тонкостях, неактуально. Михаэль что-то не возвращается, должно быть ищет кролика там наверху, в беспорядке своей комнаты. Чтобы я мог оценить прекрасную стереофонию проигрывателя, Донован со своим шепотом уступает место хору, дым струится к потолку безмолвно и довольно уютно.

— Ну ладно, — говорю я и тушу сигарету.

Маат молча стоит в дверях. Когда мы проходим мимо него, он хватается мать за руку, другой рукой цепляется за мой карман и тащит нас на улицу.

— Гляди, какие у него подголовники, — говорит он. — Это на случай катастрофы. Дай-ка, я быстро по-

пробую, подходят ли они к «симке». — Он вытаскивает подголовники из сидений и как очумелый бежит с ними к шоссе.

Прежде чем я успеваю его схватить, он скользит и падает; я вижу, как он скрывается под колесами грузовика. На самом же деле он просто бросил подголовники на землю, две огромные боксерские перчатки, и рванул дверцу «симки». Затем он заползает в машину, кидает с переднего сиденья па заднее разный хлам, газеты, книги, нагибается над спинкой сиденья и вставляет подголовники в пазы. Несколько резких движений, и подголовники стали на место, туда, где им не положено быть и где ими не пользуются, — два головообразных призрака.

Я просовываюсь в машину.

— Они подходят, — говорит он. — Идите сюда.

— Они же подходят к любой машине, — говорит его мать, — для того их и делают.

— Нажми-ка на гудок, — говорю я.

— Зачем? — говорит он.

Я осторожно вытаскиваю подголовники, теперь мне и вправду следует поторопиться.

— Скажи пять, — говорит он.

— Пять.

— В дураках остался опять, — говорит он и строго смотрит перед собой.

Я говорю:

— Слушай, Михаэль, а теперь покажи-ка мне Раффи, по только быстро, мне пора ехать.

— Зачем? — спрашивает он по-прежнему строго.

— Ну перестань. Мне же хочется повидать Раффи. Что ж тут непонятного?

— Он наверху, — говорит он.

Я иду в дом сперва нерешительно, затем быстрее, проходя мимо своей машины, бросаю в нее подголовники. Мчусь вверх по лестнице и при этом смотрю на часы.

В комнате царит невообразимый бедлам. Части металлического конструктора, куклы (другие), машины, игрушечная бензоколонка, остатки будильника, и повсюду просыпаны отруби и солома. Ага, а вон и клетка в углу, она приоткрыта. Я толкаю дверцу и чувствую, как изнутри ей что-то мешает; это кролик, он ле-

жит на боку с открытыми глазками, на мордочке немного крови. На желтой шкурке видно, куда он бил его ногами. Тут же валяется индейская безрукавка с белым мехом, которую я привез ему в позапрошлый раз. Я приподнимаю голову кролика. Она вялая и еще теплая. Я беру картонную коробку (из-под какой-то игрушки), кладу в нее кролика, зажимаю ее под мышкой и спускаюсь вниз. Ставлю коробку на сиденье своего «крайслера».

Возле двери стоит мать Михаэля и кричит, глядя на обочину шоссе: «Перестань!»

«Симка» издает гудки, то длинные, то короткие, проезжающие машины огибают ее. Она уже собирается бежать к машине, чтобы вытащить нарушителя тишины, убийцу, когда я хватаю ее за руку.

— He's killed the animal, — говорю я, — please don't make a fuss. I am taking it away. Just put his room in order¹.

Сам не знаю, зачем я говорю по-английски, он же не может нас услышать, он гудит так громко, хоть на стенку лезь.

Моя жена, моя бывшая жена, стоит не шелохнувшись. Я вскакиваю в машину, включаю мотор и задом выезжаю на улицу. Я останавливаюсь возле «симки», которая теперь умолкла, и опускаю стекло. Маат делает то же самое.

— Гудок что надо, — говорю я. — Я скоро вернусь, Маат. Будь здоров.

— Кролик-то был маловат, — говорит он.

— Вот именно. Мы подыщем что-нибудь покрупнее.

— Кабана?

— Архангела, — говорю я. — Чао.

Я нажимаю на газ. Мы оба гудим, я коротко, он дольше. В зеркало заднего вида я еще вижу, как мать вытаскивает его из машины.

А теперь дуй, как сатана, у тебя на заднем сиденье лежит жаркое, дуй в Биль, к прочим деликатесам.

¹ Он убил кролика. Пожалуйста, не поднимай вокруг этого большого шума. Кролика я заберу. Только приberi в его комнате (англ.).

В немецком языке не так уж много слов с удвоенным согласным «d». А вот Армину Блойлеру — пятидесятидвухлетнему человеку довольно невзрачной наружности — местным судом недавно было предъявлено обвинение в Leichenfledderei — ограблении трупов. Он полностью признал себя виновным. Процесс был бы еще короче, если бы суд не колебался — выносить приговор по делу об ограблении трупов или за злоупотребление доверием. Уже отсюда явствует, что ограбление трупов стало крайне непопулярным, требующим узкой специализации преступлением — времена богатых захоронений безвозвратно минули, да, что говорить, эпоха могильщиков неуклонно катится к закату, а на смену им выдвигается новая фигура — чиновник крематория, в обязанности которого входит проследить — м-да! — за последним путем покойного, и хотелось бы верить, что именно этих людей отбирают с особой тщательностью. Армин Блойлер — невзрачный с виду человек, с гладкой, совсем лишенной растительности головой, если не считать рыжеватых усов, чудом державшихся на его скользком лице, — был именно таким чиновником и доверенным лицом; и тут следует задать себе вопрос: разумно ли было с его стороны пойти на подобное нарушение закона, на какое никто бы другой не решился, и сесть на скамью подсудимых всего из-за 219 швейцарских франков 50 раппенов. Именно такова была сумма, фигурировавшая в протоколе обвинения.

Что касается морали и суммы, тут все ясно.

Однако стоит напомнить, что формулировка «ограбление трупов», несмотря на неблагозвучие, всего лишь звук. И, как всякий звук, малоосознаем, а за ним скрывается проблема, разрешить которую только с по-

мощью звуков и формулировок, даже если в них закреплено благосклонное решение суда — четыре месяца условного осуждения, — не представляется возможным. Добросовестный чиновник типа Армина никогда не совершает бессмысленных поступков; однако дело может обернуться так, что некая частная система согласованных между собой действий становится угрозой для другой, более разветвленной системы, собственно породившей первую; и тогда не в меру ретивое звено превращается в смертельно опасное зло, а честный трудяга за одну ночь — в преступника, даже жертву своих собственных деяний. Это поистине вопрос взаимодействия систем. И в данном случае мы не будем оперировать понятием двойственной морали, мы далеки также от намерения обсуждать вопросы социальной критики. Армин не согласился бы ни с первым, ни со вторым. Он принял бы на себя только то, что, как вол, образно говоря, ходил по кругу, и виновен лишь в том, что касается его непосредственно, и ничего сверх, что не входит в состав его преступления. Как никто другой в городе, он не понимает шуток, когда речь заходит о вопросах морали, а о социальной критике он не только ничего не знает, но даже и не желает ничего знать о ней. Он признает свою вину, особо подчеркивая при этом виновность супруги; да, верно, она осуждена на три недели за укрывательство краденого, правда тоже условно; и теперь у него нет больше никаких амбиций — он хочет быть бедным.

Суд дал ему возможность остаться на положении жертвы, тем более что никаких других-то жертв, строго говоря, и не было. Армин хотя и грабил, но отбирать-то ни у кого ничего не отбирал — они же были мертвые, — и родственников он не грабил: те письменно подтвердили свой отказ от похищенного имущества. Правда, они распорядились насчет этого имущества несколько иначе, они хотели предать его огню вместе с их любимым усопшим, в этом смысле Армин действовал вопреки их воле и нарушил тем самым пие́тет. Справедливость должна быть восстановлена согласно общим представлениям о ней, и Армин принял это как мужчина. К тому же у него было на кого затаить обиду и молча, без слов, подобно всем здешним мужчинам, отомстить потом за свою злую судьбу.

Армин был первенцем в семье, где было еще шестеро детей; и, если уж быть точным, он и по сей день все еще первый, так как родители его, братья и сестры, кроме двоих, живы; все они были очевидцами случившегося. Отец — литейщик, во время кризисов двадцатых и начала тридцатых годов часто оставался без куска хлеба, испытывая порой искушение швырнуть к ногам предпринимателей, которых кризис, казалось, не очень-то трогал, свою рабочую силу, если бы у него было хоть что-то еще. Вскоре он понял, что как личность — а от нее в те черные дни остались лишь громкие слова, за которые ему попадало от жены, — он целиком зависел от своей рабочей силы. Его даже ничего не стоило уничтожить как личность, выказав к ней пренебрежение. Необходимость продавать себя и одновременно быть товаром, не имеющим спроса, — урок, пользу из которого могут извлечь только сильные натуры, а у слабых это лишь давит на самолюбие.

В течение многих лет самолюбие его нигде не могло проявиться, кроме как в супружеской постели, и нечего удивляться, что бог ниспослал свое благословение такой его деятельности. По крайней мере так думала супруга. Она, как могла, поддерживала своего мужа, даже тогда, когда благословение, ниспосланное богом ее супругу, страдающему от раненого самолюбия, становилось ей непомоготу. Она спасала мужа от отчаяния, направляя его чувства по другому руслу и придавая им с каждым новыми родами все более высокий смысл. Бог прибрал к себе сначала одного, потом другого ребенка, прежде чем они успели прегрешить против него, а Армин — ловкий мальчик — уже с шестилетнего возраста годился для того, чтобы пеленать и присматривать за другими.

Долгое время Блойлер-старший подвергал себя опасности погибнуть от алкоголя и редко упускал случай попрекнуть своих детей, когда был трезв, что они, «придурки», зачаты во хмелю. Но вдруг по воле жизненных обстоятельств его рабочая сила против всех ожиданий вновь стала расхожим товаром. Экономика, подхлестываемая желаниями генералов и поддерживаемая молитвами матерей, воздала за верность и усердие в твердой валюте. Блойлер-старший опять плавил металл, да так, что от него пар валил, наконец-то он

избавился от своей рабочей силы, а вместе с нею и от тяги к алкоголю, сожительству и бунтарству. Он следил, чтобы уроки, преподнесенные ему жизнью, пошли на пользу и его детям, и охотно прикладывал к этому руку: он карал свою плоть и кровь всегда, когда она попадалась ему на глаза, сгибая в бараний рог и тело, и душу. Дети быстро усвоили, и раньше всех первенец, что есть лишь один путь, избавляющий от трудностей и грубостей жизни, — путь наверх, мать постоянно твердила об этом, имея в виду бога, но не отрицала, правда, и финансовой стороны вопроса. То, что такое обилие жизненного опыта могло пойти Армину во вред, защитник пытался осторожно внушить суду — осторожно, потому что основами жизненной школы, как таковыми, суд очень дорожил, и их не следовало потрясать. Защитник применял поэтому широкоизвестные народные изречения, мудрость которых не могла вызывать возражений, вроде: остро точишь — выщербил, или: не натягивай струну — лопнет.

Можно было бы многое сказать о внутренних пружинах, двигавших Армином, и все же ничего не сказать — как в современных назидательных книжках, откуда нуждающийся в советах едва ли что сможет почерпнуть. Короче говоря, программа Армина гласила: только не быть рабочим. Он начал помощником садовника, потом нашел место в городе, где его сначала использовали по уходу за городскими скверами, потом при так называемой народнохозяйственной выstavке, а с начала войны на кладбищенской службе. Еще будучи подсобным рабочим, он высматривал, не освободится ли место в самой команде, обслуживающей крематорий, и вот в апреле 1943 года ему повезло — управляющий Центральным кладбищем предложил ему перейти на постоянную должность служащего, и Армину представилась возможность лично сослужить последнюю службу своему предшественнику, работавшему до него у крематорской печи. Да, он видел, как догорал его благодетель, тот, кто раньше чистил печь, он видел это своими глазами через контрольное окошко, и суду стоило бы призадуматься хоть на минуту над тем, что творилось в его душе. Испытывал ли он вину? Злорадство? Благочестивое уважение? Или всего понемножку? У самого Армина был строгий отец,

а здесь на его глазах в пепел превращался его отец-благодетель, и за то, что он лицеизрел это, ему еще платили деньги; уже одно только это могло привести душу в смятение, и Армин вышел из испытания со смешанным чувством почтительного благоговения в душе — респекта — и цинизма, без которых понять его претупление невозможно.

Сначала о респекте.

Вот, например, один из служебных дней Армина в самые лучшие времена. Обычно по утрам привозили от десяти до двенадцати покойников — все незнакомые лица. Армин не обращался с ними как с чужими. Словно гостеприимный хозяин, встречал он их у дверей, делая несколько шагов навстречу и вынимая при этом руки из карманов, — то был служебный вход, боковые ворота крематория, выполненные в едва обозначенном помпезном стиле. Ну конечно, вот он, Армин как чувствовал, что он должен вот-вот появиться. Именно в эту минуту вдали в кипарисовую аллею поворачивает похоронная машина. Тоже мне катафалк! После стольких лет службы Армин не может сдержаться и хмурит лоб. Ни рыба ни мясо этот черный автомобиль, поставляющий клиента, — конструкция нечистой совести; его кузов, соответствующий назначению и имеющий форму ящика, — надругательство над пиететом, о котором только и напоминают два трафаретных скрещенных пальмовых веера на задней дверце автомобиля (на более старых моделях они насечены на матовом стекле). Нет больше ни кистей, ни медленно выступающих вороных коней, ни цветов, ни венков, за которыми идут с непокрытыми головами. Армин пытается из почтительного благоговения перед смертью придать своему лицу как можно более безжизненное выражение. Катафалк, который ведет себя на улице как самая обыкновенная машина! Ну разве что постоянно включенные фары, как бы заявляющие о своем особом праве в потоке машин, а на самом деле это не больше чем бутафория, так как ни один светофор не признает за ним этого особого права. Отсюда та неприличная скорость, на которой похоронная машина проскакивает кипарисовую аллею, словно испытательный полигон, — водитель старается наверстать именно здесь, на кладбище, упущенное в городе.

И черный лак машины покрыт, как всегда в пятницу, густым слоем пыли — Армин видит уже издалека, — потому что ее моют один раз в неделю, обычно по субботам. Армин на этом не успокаивается — он укоризненно проводит пальцем по крылу автомобиля, остановившегося перед ним, не обращая никакого внимания на слова водителя и его помощника, а те выходят, рывком открывают заднюю дверь, словно доставили штучный товар. И так же рывком выдергивают гроб, тащат его мимо Армина в дверь и с грохотом опускают на пол: в этот момент Армин закрывает глаза и думает только об одном — ему бы не хотелось умереть в городе.

Армин понимает, что такое уважительное отношение к смерти, а «попимать» — это больше, нежели просто знать, что родственники страдают. Поэтому Армин испытывает сострадание в том объеме, в каком того требует от него служебный долг; он делает поэтому даже чуточку больше, чем ему велит долг, сам определяя размеры своего сострадания. Так, он убрал помещение, где стоят гробы, цветами и старыми цветными репродукциями («Святой Антоний проповедует рыбам»), превратив его в настоящий «салон» по образцу американских funeral homes¹, о которых раздобыл специальную литературу. При таком рдении ему, правда, на руку поступление обильной клиентуры: тогда для немущих покойников в его распоряжении всегда оказывались лишние цветы после пышных кремаций. Шорфер и его помощник не обращали на это ни малейшего внимания — им лишь бы скорее сбросить гробы и не возиться с ними, но скорбящие родственники умели оценить услугу, когда заходили к Армину для обсуждения последних распоряжений, а также чтобы бросить прощальный взгляд на усопшего. Армин представлял в таких случаях дверь в свое бюро — рядом с «салоном» у него было бюро — слегка приоткрытой. Он знал, что скорбящему хочется побыть в эту минуту одному, но не в одиночестве. Шорх бумаг в соседней комнате поддерживает, не отвлекая, связь с живым миром. А бумаги эти необходимы для того, чтобы, вдо-

¹ Похоронные бюро (англ.).

воля наглядевшись и наплакавшись, родственник мог выполнить кое-какие формальности, которые Армин, будучи чиновником крематория, обязан соблюсти. Например, есть ли на то воля скорбящих родственников, чтобы дорогой (дорогая) умерший (умершая) унес (унесла) с собой обручальное кольцо (личное украшение), замеченное Армином на нем (ней)? Если да, не будет ли угодно присутствующему скрепить свою волю подписью? Если нет — на то могут быть свои, вполне понятные душевные причины, например желание сбегать от огня дорогую память, — не подтвердит ли он это документом, но только вот тут, на желтом формуляре? В таком случае Армин окажет услугу и выйдет еще раз в «салон» за вышеозначенными предметами. При этом он брал с собой незаметно для родственников, естественно остававшихся в бюро, кусочек мыла — обручальные кольца не так-то просто снять. Ни разу не было такого случая — это для судебного разбирательства, — чтобы Армин утаил наличие ценного предмета на трупе. Он всегда уважал права и чувства наследников. Но если не помогало и мыло, а бывало и такое, то силы Армин не применял. Он возвращался в свое бюро и говорил — дословные показания свидетелей подтвердили его прекрасную фразу, — усопший или усопшая не хочет расставаться с кольцом и будет хранить свою верность в огне и на том свете. Если родственники отказывались понимать его, Армин в свою очередь скорбно склонял голову. И самое главное — суд обратил особое внимание на этот пункт, — если по условиям договора кольцо должно было быть изъято, но сидело на пальце так прочно, что снять его было невозможно, Армин не выходил в «салон», отказывая в просьбе скорбящему. Он не делал этого и потом. При любых обстоятельствах он высоко ценил верность и заверил на суде, что подобное кольцо ни разу не перекочевало в карман его жилетки, ибо оно должно было остаться с ним (с ней).

То, что можно быть неверным и с кольцом на пальце, об этом Армин ничего не знал — настолько он был певинен.

Достаточно о респекте. Ну а цинизм? Более опытный глаз узрит его хотя бы в той показной горечи, с какой Армин демонстрировал свое отношение к су-

прудеской верности посторонних людей, ставших уже трупами. Но прежде чем разобраться в этом, следует еще обратить внимание на то, что движимый респектом Армин пошел в своих действиях чуть дальше — по мнению «непосвященных» лиц, а также и суда, — значительно дальше, чем нужно было. К сожалению, ни один психиатр не получил возможности высказать своего мнения по поводу того обстоятельства, что Армин, прильнув к огнеупорному стеклу, чаще, чем нужно, наблюдал за преображением подвластных ему трупов — так часто, как только ему позволяло его бойкое место, устранивая то и дело затор у печи из-за своего зашедшего так далеко почтительного отношения к смерти. Кстати, это абсолютная ложь, будто гроб под влиянием высокой температуры с треском открывается и мертвец с охваченными пламенем волосами поднимается напоследок во весь рост; из десяти случаев такое бывает самое большее один раз, и Армин никогда не ждал специально этого момента. Но что-то такое, без чего, он, вероятно, не мог обойтись, приковывало его к окошечку, и он, не отрываясь, смотрел в ревущий и воющий ад — «непосвященному» особенно трудно представить себе, как гудит и воет печь! — иначе вряд ли он нес бы свою службу по контролю за печью с таким рвением, а, наоборот, каждый раз с облегчением вздыхал бы, когда чужой покойник — верный или неверный, — рухнув, объятый пламенем, превращался наконец в пепел, а огонь бушевал, так сказать, в пустоте. Что-то должно было отмирать в нем, обрываться и сгорать дотла каждый его рабочий день заново, но, так как психиатр не высказал свою точку зрения по этому вопросу, можно только предполагать — что.

Предполагать можно, но тогда невольно затронешь не менее щекотливую тему. Воспитанный тяжелой отцовской рукой, Армин надеялся наконец обрести почву под ногами, когда осенью 42-го года — Гитлер уже воевал против Советского Союза — обручился с порядочной девушкой. Здесь как раз уместно сказать несколько слов о ставшей впоследствии укрывательницей краденого госпоже Сабине Блойлер. Армин познакомился с Сабинной, урожденной Отгенфус, в одном из богатых домов в западной части города, где в свободное от работы время ухаживал за садом, чтобы увели-

чить свой заработок могильщика. Сад с защищенным розарием, декоративной частью и маленькой оранжереей, пристроенной к беседке XVIII века, можно было, скорее, назвать парком. А так как в тот военный год резервы рабочей силы совершенно иссякли, то на крепкого и молчаливого молодого садовника смотрели тепло и обращались с ним по-семейному, насколько позволяла разница в положении в обществе, которую Армин всячески старался сократить честным приложением своих физических сил — формой вежливости неимущих. Его ухаживания за служанкой Сабиной, произведенной во время войны в бонны, были приняты с величайшей благосклонностью, которой Армин ни разу не злоупотребил. Он даже не знал, как это делается! Пеленать маленьких сестер и командовать ими — это пожалуй-ста. Правда, даже когда тебя приучают не думать ничего дурного, ты все равно думаешь про себя о том, о чем нельзя, и с этим уже ничего не поделаешь, думаешь о тех сладострастных похотливых вещах, связать которые с непринужденным поведением взрослых женских особ, с покачиванием их туго обтянутых бедер невозможно, поскольку запрещено, а между тем одно только командование сестрами больше не удовлетворяет, а со временем и онанизм тоже. Но Армин был настолько робким, что даже такая проступка, как Сабина, чувствовала себя с ним уверенно, уверенно и несколько смущенно, так как мужская невинность, как известно, очень ненадежна и взрывчата. Так мучился Армин муками первой любви, вылившейся у него в отвратительную форму одиночества, какое только может испытывать воспитанный в строгости молодой человек, ибо он никогда не позволит себе приписать другому желания, которые снедают его самого, тем более что пудовой гирей давят на него отцовские слова о падении и грехе: в грехе рождается жизнь, но знать о ней все до конца незачем (экономические причины), а потому лучше о ней вообще ничего не знать (нравственные причины). Армин не делал ничего такого с Сабиной, чего он должен был бы стыдиться, но и ничего такого, чего он не устыдился бы. Он проводил одну бессонную ночь за другой, не помогали никакие садовые работы — по три часа каждый день, а в длинные летние вечера и того больше. Он привык уже рассматривать свою не-

винность и то смущение, какое она доставляла ему и Сабине, как залог своей будущей карьеры и жизни в высшем свете, мерещившейся ему в стиле и облике господского дома.

Армин получал за свой уход за розами, включая шипы, двести франков в месяц — по тогдашним временам это была сумма, делавшая честь любому рабочему и обязывавшая его не просто относиться к своему работодателю по-человечески, но и идти ему навстречу в некоторых других его требованиях.

Тем не менее Армин очень удивился, когда весной сорок третьего в последних числах мая его пригласили в кабинет хозяина — большого человека в строгительном мире, имя его никакого отношения к делу не имеет. По дороге туда он спрашивал себя, что же выплыло наружу, кто его оклеветал или вытащил на свет божий правду, касавшуюся его воспаленной фантазии: ведь совесть Армина давно уже была нечиста. Итак, Армин предстал перед своим хозяином с дрожью в душе, не заметив даже, что светские манеры того были сегодня почему-то не столь изящны, как обычно, а казались угловатыми и выдавали его смущение. Краем глаза он рассматривал кабинет хозяина, где до сих пор ему не приходилось бывать, книжную полку с годовыми отчетами и классической литературой, даже вечернее солнышко светило здесь благороднее, чем в саду. Тишина в доме объяснялась просто — хозяин отправил жену и детей в горы, на Тунское озеро, где у него было шале, чистый воздух и ненормированные взбитые сливки; на случай нападения немцев он избавил себя от основательного переезда, но в то же время был готов в любой момент присоединиться к своим ближним. Шофер каждый день держал наготове лимузин и был даже освобожден для этого от военной службы — хозяин знал, как это делается, — как, кстати, и Армин, работавший могильщиком на объекте военного назначения и носивший желтую повязку, свидетельствовавшую о том, что он уполномочен эвакуировать два жилых блока. Хозяин в свою очередь был полковником; он сумел придать своим строительным делам военную окраску и выезжал иногда на неделе проветрить мундир. Кое-кому, впрочем, было предначертано погибнуть внизу, в долине, как говорилось в хрестоматии для предпоследне-

го класса народной школы, которую Армин удостоился чести посещать, другим же Сивилла предсказала троны королей; кроме того, речь шла, насколько Армин помнил наизусть, о ловких, умелых руках. Прекрасное стихотворение, заключающее в себе весь миропорядок; далекое шале в Зигрисвиле и было таким тронном, даже если госпожу полковницу и звали Корделия. Не стоит понимать все в буквальном смысле, скорее в возвышенном, а, главное, надо уметь сопереживать, и Армин сопереживал в поте лица, отчего сад хозяина великолепно процветал.

Хозяин поблагодарил его за сад. И тут Армин ясно почувствовал, несмотря на стыдливую радость, что не это было главной причиной его выезда в кабинет к хозяину. Через четверть часа светского разговора хозяин, глядя на кончики своих ногтей, перешел к делу. В доме зреет зло, сказал он, подергивая плечами, которое легко может вызвать скандал и помешать установлению мира, в том числе и домашнего мира. Оно зреет, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, в чреве Сабини, и поэтому он, хозяин, хочет посоветоваться со своим садовником, как мужчина с женщиной. Армин ответил, огорошенный, что это исключается, так как он к Сабине не прикасался, ну, конечно, тискал ее, как это случается иногда между женихом и невестой, но и то в меру. Все остальное он старался подавить в себе. На что хозяин, тонко улыбаясь, возразил, что лично он готов в это поверить, хотя вообще-то вера в такую сдержанность в наши дни тает. Не хочет ли Армин ускорить женитьбу и опередить те слухи, которые так или иначе начнут распространяться, задевая честь людей высшего света? В убытке Армин не будет. Он, хозяин, обязуется выплатить ожидаемому ребенку пожизненную ренту в качестве подарка на крестины в сумме десяти тысяч франков, которыми они, родители, разумеется, вправе распоряжаться по собственному усмотрению и для собственного блага, неотделимого, он надеется, от блага ребенка. Он, хозяин, далек от того, чтобы навязывать Армину решение сделать этот шаг, если тот вовсе не убежден в его необходимости. Просьба дать ему время подумать, которую он читает в глазах Армина, будет заведомо удовлетворена, Армин может сейчас пойти и спокойно обсудить все с

Сабинной. И вообще, хозяин будет только рад, если верная супружеская пара будет у него работать и в дальнейшем, а он сам займется помыслами, как облегчить бременную жизнь, независимо от того, будет война или нет. Он даже готов распорядиться освободить беседку около розария и превратить ее в служебную квартиру и теплое семейное гнездышко для молодой пары, при этом Армин может по-прежнему выполнять свои служебные обязанности в городе — могильщик ведь тоже работает во имя жизни на земле.

Во всем доме наступила такая мертвая тишина, что Армину хотелось закричать. То, что мог прочесть в его взгляде хозяин, была не просьба, а прозрение, озарившее его и сменявшееся поочередно то ужасом в его глазах, то жаждой крови. Но Армин подавил в себе и то и другое, он не удостоил хозяина больше ни единым взглядом, ни единым словом, а молча удалился, тяжело печатая шаг, чтобы отыскать в тишине дома Сабину. Гонимый мстью, метался он в садовой обуви по дому, поднимался и спускался вверх и вниз по лестницам, устланным мягкими коврами, словно это были половики, о которые вытирают грязные подошвы, не остановился даже перед супружеской спальней, плюнул на персидские шелка, заглянул во все укромные уголки и облазил весь чердак. Наконец он нашел ее в подвальном помещении. Она не пряталась, она просто гладила, как всегда в это время. Ее лживое чистоплюйство привело Армина в еще большую ярость, чем все остальное.

Ни слова не говоря, он вытащил ее из-за гладильной доски, развернулся и надавал ей затрещин. Как ни странно, звонкие удары раздавались при гробовом молчании обеих сторон, не считая их тяжелого дыхания. Несмотря на выволочку, Сабина так и осталась беременной, даже больше того... Во время потасовки возбуждение садовника приняло вдруг совершенно неожиданное направление и привело к действиям, осуществление которых облегчилось благодаря наличию бельевой корзины, и потасовку уже нельзя было отличить от любовной сцены, а тяжелое дыхание сменилось радостными вскриками и визгами. Такой поворот дела, вышустивший из Армина всю злость, несколько не убавил, разумеется, его презрения к Сабине, больше то-

го — так уж он был воспитан, — он даже укрепился в нем. Озябнув, Армин пришел в чувство и стал трезво рассуждать, и тут, оказывается, произошли серьезные изменения: появилась трезвость, папахивающая чудовищным практицизмом. Само собой, соглашаться на предложение хозяина было бесчестно, но на что ему теперь честь, чем она может ему помочь? Падение открыло ему глаза — эта обременительная порядочность пахла самообманом и благочестивым вздором, лестничными клетками его детства, капустой, брюквой и вонючей мастикой. К первому тезису благочестивого карьериста: только не быть рабочим! — прибавился теперь второй, покончивший с благочестием и звучащий открытым текстом так: кто сказал «а», должен сказать и «б»! Этот майский день сокрушил в Армине все, оставив в нем только карьериста. И пусть тот, кто вырос в тепле и достатке, бросит в него, выросшего на задворках, первый камень.

Впрочем, ценные сведения на тему житейской мудрости Армин собрал не только в кабинете хозяина, но и на бельевой корзине. И главное среди них — человеку, имеющему еще более нечистую совесть, чем ты сам, можно дать почувствовать его вину с выгодой для себя, потребовав от него оплату чистогоаном или в другой, нематериальной форме — иными словами, крупное возмещение убытков со стороны хозяина и пожизненную покорность со стороны его служанки. К этому надо добавить, что Сабина, вся в слезах, тут же на бельевой корзине уверяла Армина в ответ на допрос с пристрастием, что по сравнению с ним, садовником, хозяин просто никуда не годится. Своим успехом Армин мог гордиться только наполовину, поскольку на его тонкий вкус это отдавало похвалой девки, но тем не менее придавало ему храбрости для предъявления счета хозяину. Саркастически хладнокровно, как только он смог, Армин предстал перед ним и заявил, что готов на сделку, но на своих условиях: пятнадцать тысяч за жену и никакой дальнейшей совместной работы.

Хозяин получил сполна, и хозяину пришлось проглотить эту пилюлю. Его беседка осталась нетронутой, розы захирели, листья покрылись ржавчиной. Армин с удовлетворением отметил это через несколько лет,

когда они прогуливались с женой вдоль запущенного сада хозяина, жена его виновато потупила взор, как и тогда, в первый день. Да, ребенок родился мертвым, Армин получил свои пятнадцать тысяч без выполнения встречного обязательства. Но облегчения он все равно не испытал и упрекал свою жену в отсутствии доверия к нему, даже в эгоизме — она не захотела отдать ему ребенка. А он был бы ему хорошим отцом.

Их брак так и остался бездетным. Армин стал чиновником, жил в достатке, а она окружила себя атмосферой непроницаемости, какого-то беспросветного мрака, своего рода густым туманом, где и гром не гремит, и солнце не светит. Посторонние ничего не замечали, так как Армин компенсировал свою скрытую депрессию деланной веселостью и деловитостью. Он усердно заботился о своих покойничках и не спускал с них глаз вплоть до самого огня. Только острый или сочувствующий взгляд мог бы проникнуть в суетность и тщетность его усилий. Но над ним были только вышестоящие инстанции, которым он не давал повода для пристального наблюдения за собой, и не было никого, кто стал бы проявлять к нему сочувствие. У него выпадали волосы, он лысел, что не могло послужить поводом к неуважению — такое со многими случается.

Не забыть бы еще одну мелочь — тогда на белье-вой корзине он сорвал с пальца своей невесты кольцо. «Ты занималась этим с моим кольцом на пальце!» — сказал он с неопишуемой завистью и отвращением. И к своему ужасу, почувствовал, что вновь возбужден и может еще раз покарать неверную. Понять этого он не мог, но сделать сделал, а она, обливаясь слезами, не сопротивлялась, и так хорошо, как тогда, позже, в браке, ему уже никогда не было. Противоречия жизни! Когда Армин вспоминал об этом — что случилось редко и в течение многих лет всегда об одном и том же, обычно незадолго до пробуждения, возможно, он даже просыпался, ужаленный противоречиями жизни, — то даже и тогда ему приходилось бороться с охватывающим его возбуждением, справиться с которым он был не в силах. К своей жене он в таких случаях не обращался — она и спала-то в другой комнате, — а быстро шел принимать душ и отправлялся на час раньше на работу. Да, кольцо так тогда и не

нашлось, оно было словно заколдованное. Армин обшарил весь подвал хозяйского дома, пядь за пядью. Он подозревал свою жену — она проглотила его, что было абсолютно бессмысленно; и кончилось тем, что брак их был заключен без колец. Блойлеры и после не носили колец, в их кругу это было редкостью. Зато Армин не обманывал поэтому свою жену, даже находясь на военной службе, и она его — излишне говорить об этом — тоже нет. Все ограничилось тем одним разом. На бельевой корзине Блойлеры вкусили свою юность; на той же корзине они навсегда расстались с пею. Кто сказал «а», должен сказать и «б». Как видно, Армин не очень-то торопился сказать «б», так как от «а» ему перепало немного. Деревце жизни Армина поднималось вверх, правда не то чтобы мощно, а так, потихоньку, — из одного чиновничьего ряда он переходил в другой, повыше, но корни деревца подтачивал червь, с каждым увеличением размера будущей пенсии рос невысказанный вопрос: а, собственно, зачем? Он работал с таким остервепением, словно хотел избавиться таким путем от кусочка своей сегодняшней жизни. Но и будущее, которое он добывал этим самым трудом, тоже не радовало его, да и горькое прошлое не становилось от этого слаще, а только слегка притуплялась боль. Заработок Армина вскоре позволил госпоже Блойлер бросить работу — или, точнее говоря, Армин не позволил ей больше работать. Она должна была блаженствовать дома, полностью отдавать себя заботам о пустом гнезде, что она и делала, чего бы ей это только ни стоило (можно пойти ведь и на большее). Но вопрос — зачем? — был незримо написан на каждой стене новой четырехкомнатной квартиры: не помогали ни гости, которых принимали в такой натянутой обстановке, что они никогда больше сюда не приходили, ни филодендрон, ни старая гравюра. Они выбились в люди, но жизни не было.

Итак, вернемся к мертвым. С одной стороны, Армин завидовал им, потому что все у них было позади и на их умиротворенных лицах был написан покой, якобы честно заслуженный ими, в то время как у него была только честность, а покоя не было. В качестве чиновника он прилагал усилия встретить их почтительно, оградить от сухой деловитости служителей

крематория и самого процесса обработки. Отсюда цветы в «салоне», напоминания о продолжающейся жизни — цветные репродукции Рени или Цизери, а также кое-что современное, например Хунцикер, которым он украсил голые стены. Он невольно уподоблял последнее их место пребывания на земле, перед тем как отправить в печь, своим собственным четырем степам. И если мертвые ухмылялись в ответ — а они ухмылялись обычно через день-два после прибытия, — то это происходило непреднамеренно, а вследствие неравномерного распада подкожной ткани; если они ухмылялись, издеваясь над ним из-под цветов, которыми он их обкладывал, тогда в душе Армина что-то ожесточалось, и можно понять, почему он смотрел если не с удовольствием, то с чувством растущего удовлетворения, как они вставали в огне, пожиравшем и превращавшем их в пепел. И наконец, можно, пожалуй, понять, почему он снимал с них кольца, особенно с тех, у кого они легко снимались, что всегда было плохим признаком — в глазах Армина это означало: я знаю вас! Почему это вам должно быть лучше, чем мне! — и не имело ничего общего с обогащением. Защитник — человек, наделенный фантазией в вопросах социологии, — долго обдумывал, изложить или нет такую точку зрения суду. Но потом он сказал сам себе, что она покажется судьям надуманной, притянутой за волосы и уже потому вряд ли послужит на пользу его подзащитному. В намерение защитника, в свою очередь полным ходом продвигающегося по служебной лестнице, вовсе не входило выставить себя в смешном свете и тем самым вредить своему еще не вполне утвердившемуся реноме. В конце концов, он был только юрист, а не психиатр; если бы такового хотели привлечь, так давно бы привлекли, и он даже сам ходатайствовал об этом, но Армин вдруг решительно воспротивился. Он хочет чистого судебного дела, заявил он.

Ну положим, чистого или хотя бы ясного в поведении Армина было немного, впрочем, в конце концов, как защитник он ничего не мог больше предпринять. Дело Армина было бы более или менее чистым, если бы снятые с трупов обручальные кольца — других ценностей он не брал — исчезали бы, как исчезло тогда (преднамеренно) то обручальное кольцо в подва-

ле хозяина, или если бы он сам их реализовывал, идя на риск. Но он этого не делал. Он поручил все своей вступившей на путь добропорядочности жене, подвергнув себя тем самым гораздо большему риску, так что его дело приходилось рассматривать или как голый расчет, или, сбиваясь с толку, думать, в своем ли уме обвиняемый. Не умышленный голый расчет, нет, определенно нет. Но если что в поведении Армина и заслуживает определения «преступный», так это, безусловно, то непреднамеренное, зато с удовольствием смакуемое им злорадство, с каким он отправлял свою жену на верную погибель. Ведь урожденная Отгенфус — что подтверждают документы дела и что привело непосредственно к аресту супружеской пары — вела себя в каждом скупочном магазине, в который она заходила, настолько неумело, что первый же скупщик должен был бы заподозрить неладное. Просто уму непостижимо, почему этого сразу не произошло, и бросает даже тень на все скупочные магазины, как таковые, ведь только в девятом или десятом красное от смущения лицо заикающейся от страха неопытной Сабиньи насторожило, и там решили позвонить за ее спиной в полицию, продержав беспомощно барахтающуюся во лжи женщину до тех пор, пока ее не сцапал первый же полицейский. Свершилось — она наконец-то пала, споткнувшись о недоступный для нее символ верности, которую она однажды по неопытности и находясь в зависимом положении нарушила, и пала теперь окончательно, как она этого уже давно заслужила в глазах Армина.

Да, но ведь она этими семнадцатью обручальными кольцами — стоимостью приблизительно 219 франков 50 раппенов — и своего Армина ввергла в беду? Ну, так ей устроил Армин, непреднамеренно, нет, но зато тем коварнее: в этом и состояла вторая и наиболее существенная сторона его расчета. Никто же не допустит мысли, что такой человек, как Армин Блойлер, будет мстить и не расплатится за это, не подвергнет себя наказанию, а цель его, собственно, и была — не просто стать виновным, но и обязательно бедным, ибо, само собой, это должно было привести к потере денежного обеспечения в старости. А ведь подняться наверх такому человеку, как Армин — неимущему и с уг-

ветенной психикой, — было совсем не легко, он работал ради этого всю свою жизнь, и жизнь эта не была сладкой. Но то, что ограбление трупов в конечном итоге сильнее, чем оно ударило по нему самому, ударит по Сабине, утратившей свою самостоятельность — иначе вряд ли она стала бы укрывательницей награбленного, — было для него не самым нежелательным побочным исходом этого непреднамеренного поступка. Сабина была теперь опять во всем виновата, и вина ее была куда больше ее возможностей когда-либо загладить эту вину. Само собой разумеется, он бы не потерпел, чтобы при его выигрыше его же и обвели вокруг пальца, анализируя его поступок или тем более их брак, отсюда и протест Армина против психиатра. Он настаивал на версии исключительности своего не поддающегося пониманию идиотского проступка, на трагической абсурдности этого ляпсуса, и был по-своему прав. Ведь в основе его преступления лежало одно-единственное исключительное происшествие в его добропорядочной и безрадостной жизни, только свершилось оно не в крематории, а в подвале хозяйского дома. Без вины виноватым, ставшим виновным при загадочных обстоятельствах, короче, нищим, предстал он перед своими судьями и ждал, чтобы его осудили. О его добропорядочности свидетельствовала хотя бы денежная сумма его преступления — всего-то 219 франков 50 раппенов! О том же говорила и его готовность взять под защиту перед судом свою всхлипывающую жену. А что за этим фасадом скрывалось нечто вроде спасения потаскушки и исправления собственной ошибки, совершенной еще в незапамятные времена — может, даже его матерью, если уж говорить строго! — и что он выигрывал тем больше, чем сильнее мог заставить спасаемую им жертву казнить своим бесчестьем, не стоило знать даже самому Армину. И суд тоже ничего об этом не знал, он был занят своими собственными делами. Армин был осужден, суд действовал именем господ бога, но был милостив и приговорил его к условному исполнению приговора. Армин должен был получить свой второй шанс.

И он получил его. Место в крематории было, правда, потеряно — это все же произошло, хотя бы во имя соблюдения пietetа! — но председатель суда лично

взял себе на заметку человека, который так прямо стоял перед ним у барьера и принял свой приговор с мужественной улыбкой на лице. Поведение Армина на суде зарекомендовало его как человека с твердым характером. Именно исключительность его преступления служила гарантией, что скорее кто-либо незапятнанный пойдет на преступление, чем Армин повторит свое, охарактеризовавшее его точнее и глубже, чем иной честный поступок, гораздо меньше раскрывающий подсудимого, как потом поневоле выясняется при страстном судебном разбирательстве; дело Армина дало только положительные характеристики, не считая того глупого проступка. Председатель суда навел справки по своим каналам об образе жизни Армина. В донесениях фигурировал и филодендрон, и сверкающая чистотой кухня.

Если при этом задуматься, какой серьезный, а учитывая козни времени, почти угрожающий недостаток в кадрах испытывает полицейская мощь нашего города, то дальнейший путь Армина не вызывает никаких сомнений.

Правда, начальник полицейского участка, который получил себе напарника, можно сказать, прямо из зала суда, не очень-то торопился. Он тактично наблюдал за Армином, установил для него — но так, что тот даже не подозревал об этом, — своего рода испытательный срок. Армин вел себя безупречно. По требованию готов был убирать улицы — стоял как раз снежный февраль, — и безропотно каждый день в три-четыре часа утра он был уже на ногах, готовый посыпать мостовую песком и солью. Ни единый мускул на его лице не выдавал, что он считает такую работу ниже своего достоинства. Он просто старался, старался больше других, как всегда, еще когда пеленал сестер, когда рыл могилы и обрезал розы и даже тогда, на бельевой корзине в красную шашечку, но не будем сейчас говорить об этом. Через три месяца ничто больше не препятствовало его вступлению в армию полицейских. Одна из его первых служебных акций привела его в крематорий — бюрократию просто переоценивают, если приписывают ей преднамеренные действия. Он должен был осуществить надзор за ликвидацией некоторых вещественных доказательств, тех семнадцати обру-

чальных колец, которые суд после долгих колебаний — законные наследники не объявлялись и найти их не представлялось возможным — решил предать очистительному огню. Для простоты дела постановили вложить их в чей-нибудь гроб. По воле случая им оказался лишенный всякого убранства гроб восьмидесяти-трехлетней сестры милосердия. Преемник Армина по его службе в крематории вложил под неусыпным взором полицейского запечатанный сургучом пакет в сложенные на груди руки усопшей, язвительно ухмыльнувшейся в ответ. У Армина, облаченного в новый мундир, не дрогнул ни один мускул на лице. Без контроля за собственной кремацией он как-нибудь проживет. С этим навсегда покончено.

В самый короткий срок, какой только можно себе представить, Армин поднялся на следующую ступеньку служебной лестницы. Его отцу, бывшему свидетелем его позора, довелось дожить до этого, и он тихонько радовался про себя. Вскоре пенсионное обеспечение в старости достигло у Армина прежних размеров. Его жена уже не могла претендовать на свою долю. Она умерла в течение одного года, сорока семи лет от роду. С операцией опоздали — у Армина в ту ночь было очередное дежурство. Говорят, это был рак матки, типично женское заболевание. Тут уж ничего не поделаешь.

Родители Ацуко живут на окраине Токио в собственном домике, окруженном плотной стеной живой изгороди в рост человека. Изгородь в одном месте имеет просвет, оставленный специально: через него из гостиной в европейском стиле; обращенной окнами на запад, можно видеть Фудзи. Но только не летом, а лишь осенью и зимой, ясным утром. Правда, нет полной уверенности, что видишь именно ее, что это она выступает из-за гор Хаконе — почти неотличимый от облачка бугорок, чуть другой фактуры, чем белесое небо, в котором он растворяется к полудню. Отец Ацуко — профессор небольшого, но солидного частного университета, где он читает курс «аудиовизуальный метод обучения». В западной комнате стоит телевизор, перед ним отец любит сидеть вечером, отгородившись от экрана газетой; он опускает ее только по пятницам, во время собственного выступления. В этот вечер мать устраивается на своем стуле в дальнем углу, а дети выходят из комнаты. Детями они остались лишь в глазах родителей: Итиро тридцать лет, Ёдзи двадцать восемь, Ацуко двадцать два. Дети в таком возрасте сами уже становятся семейными людьми.

Начало положил Итиро в прошлом году. С его женьтибой все было так же просто, как и с ним самим. Служащему банка нелегко встретить подходящую девушку, поэтому он обрадовался, когда давняя приятельница родителей вызвалась сосватать ему невесту по старинному обычаю, сделав это со всей тонкостью и деликатностью. В успехе можно было не сомневаться. Молодые люди познакомились и, ничего не имея

* Печатается по изданию Verlag Volk und Welt, Berlin, 1974.

друг против друга, поженились, выдержав положенный срок исключительно в угоду традиции. Было бы куда менее удивительно, если бы первым женился Ёдзи, другой брат Ацуко, от которого всего можно ожидать, и, однако, случись это — вот бы она удивилась! Ёдзи в свадебном фраке! Интересно, как бы они оба держались при этом?

Хотя Ёдзи старше Ацуко на шесть лет, им обоим казалось, что они помнят друг друга столько же, сколько помнят себя; впрочем, разница в возрасте предполагала снисходительность по отношению к младшей сестре.

Ёдзи не спешил ставить точку на своем образовании и, имея уже несколько часов в одном из университетов Токио, все еще учился, если можно, конечно, так сказать об удовольствии, какое он получал от общения с французскими и итальянскими поэтами. Он был поистине бродячий художник. В то время как его коллеги натушливо вынашивали в душе мечту о Европе, с ненасытной жадностью терлись около профессоров-гастроэнтерологов, обивали пороги франко-японских акционерных обществ, Ёдзи ничего не стоило завести знакомых среди туристов — и на следующий день очутиться в Париже. Или же он предлагал свои услуги в качестве сопровождающего группы молодых рабочих пищевой промышленности, премированных на фабрике поездкой за границу. Или какая-нибудь итальянская фирма, считавшая необходимым иметь собственное переводческое бюро в Токио, командировала его в Милан на международную ярмарку.

Таким был Ёдзи; разъезжая по свету, он усвоил легкость и свободу в обращении, которые в Японии воспринимаются как нечто экзотическое, но в сочетании с хорошим вкусом и чувством меры становятся для близких источником тайной гордости. Ацуко приносила брату чашку чаю, вазочку с печеньем, заходила обсудить с ним школьные новости, пользуясь любым предлогом, чтобы застать Ёдзи в его комнате. Каждый раз она видела его сидящим, как ей казалось, без всякого дела, в одном и том же черном кимоно, которое он надевал дома. Он поднимался ей навстречу, веселый, готовый на любую проделку, с шутливой и несколько церемонной галантностью спрашивал, что у

нее нового, словно ожидал услышать о больших переменах, происшедших за день, и просил ее посидеть и поболтать с ним. Она оставалась, уверенная, что докучает ему своими пустяками, совсем для него не интересными. Однако Ёдзи слушал ее не просто вежливо, а с подчеркнутым интересом, отчего Ацуко начинало вдруг казаться, что он издевается или разыгрывает ее, и она надувала губы. Тогда он затевал возню, завершавшуюся громким смехом: Ацуко даже забывала прикрыть рот рукой.

В ее отношении к этому брату всегда был значительный оттенок кокетства, с которым она, руководствуясь здравым смыслом, пыталась справиться: здесь, в Японии, подобное не принято, не говоря уже о том, что игривость могла бы далеко ее завести. И все равно Ёдзи, с его дерзкими глазами, оставался для нее идеалом мужчины, и она частенько ловила себя на мысли: вот бы полюбить такого, как он! Раньше Ацуко все знала о брате, любила подтрунивать над ним при посторонних, однако ничего подобного по отношению к себе решительно не допускала, а любую попытку заступиться за Ёдзи находила до смешного нелепой. Сейчас, после всех путешествий, лишь его глаза, все такие же круглые и нарочито детские, смотрели на нее с прежним выражением; и хотя резче обозначились складки в уголках рта, она предпочитала их не замечать.

Но именно эти складки сыграли свою роль в том, что Ацуко прежде всего захотелось посоветоваться с ним, когда встал вопрос о ее будущем, точнее сказать — о замужестве. Каково же было ее недоумение, когда она обнаружила, что ее желание совпадает с желанием отца. В последнее время, оставшись вдвоем, отец с сыном все чаще что-то обсуждали, но, стояло ей войти в комнату, спешили перевести разговор на другую тему. Она хорошо знала, что продолжительные беседы отца с братом пагубно сказываются на их словарном запасе. И потому теперь, видя двух сидящих рядом мужчин, облаченных, хотя и по разным причинам, в одинаковые стародедовские одежды, впервые за долгие годы единодушных, или перехватывая за обедом взгляды, которыми они незаметно обменивались,

Ацуко догадывалась: только одно могло их объединить — она.

Это льстило ее самолюбию, и вместе с тем она чувствовала себя уязвленной. Пусть не думают, что с ней можно обращаться словно с вещью! И потому, когда Ёдзи вдруг привел в дом своего товарища по гимназии, некоего Хидэо, физика-атомщика, с которым он последнее время почти не встречался и чья спокойная положительность, как во всеуслышание объявил Ёдзи, открылась ему только теперь, Ацуко немедленно заняла оборону. У Ацуко было две причины не чувствовать себя счастливой: уловки и ухищрения, на которые, щадя сестру, пускался Ёдзи, стараясь внешне исключить ее из игры, и надежда, что она разрешит себя обмануть и в конце концов поверит, будто все складывается так, как она сама того хочет. Ей предлагали условия, оскорблявшие ее гордость, хотя Ацуко прекрасно знала: во времена молодости ее матери подобные душевные терзания считались жеманством, за это даже наказывали, и у нее тоже не должно быть сомнений — ей нужен муж, решено. Но это «решено» никто не осмеливался произнести отчетливо и твердо, все вменяли себе в обязанность крайнюю деликатность — между прочим, правильно делали, горе тому, кто осмелился бы распорядиться ее чувствами, — и все равно им не удалось полностью скрыть от нее свой простой замысел, да они и не слишком старались, уверенные в ее покорном пособничестве. Все это смущало и обескураживало ее, хотя она и не представляла себе ясно, как бы сама поступила на их месте.

По правде говоря, она и не ждала от отца, что он примет верное решение. Но он вообще устранился, с самого начала спрятавшись за спину Ёдзи, это обстоятельство ужасно ее мучило. Оно лишило Ацуко веры в семейный идеал, в авторитет главы семьи и открыло ей путь к свободе, до которой она, по ее мнению, еще не доросла. Да к тому же свобода оказалась просто ловушкой — ведь право выбора было не за Ацуко, а за человеком, пусть тонко чувствующим, но уронившим себя в ее глазах. Она подозревала, что Ёдзи бесконечно увлечен своей ролью и находит в ней странное удовлетворение. Как нарочно, именно ему, этому маленькому «европейцу», суждено стать традиционным

сватом своей сестры. Он должен приглядываться к чистеньким молодым людям и по одному мысленно ставить их рядом с ней до тех пор, пока не получится подходящего кадра. Разумеется, он превосходно справится со своей щекотливой ролью, но именно этого Ацуко и боялась. Ведь это означало бы, что она и ее брак не что иное, как прихоть его живого и праздного ума, проходная сценка, эпизод из комедии дель арте, который он намеревается хладнокровно разыграть со своими близкими.

Ацуко хорошо помнит, как песколько лет назад, вернувшись из своей второй поездки во Францию, Ёдзи говорил ей за чашкой зеленого чая о преимуществах японского брака по расчету. Подобные браки словно горшок с холодной водой, которая делается все горячее на сильном огне, а так называемые браки по любви, принятые на Западе, можно сравнить с кипятком, оставленным на потухшем очаге и быстро остывающим. И, неторопливо перелистывая лежащую перед ним книгу, он предлагает Ацуко вдуматься в прекрасный смысл, заключенный в самом японском слове «сват». «Гэзка-хёдзин» — ледяной человек под лупой. Его французские друзья позавидовали бы этой метафоре, равно как и обычаю, способному покончить с жалкой беспомощностью влюбленных и облечь случайность в надежную форму, придав ей видимость закономерности: в конце концов, в любом браке все сводится к одному.

Это уже было чересчур; Ацуко сама только что вернулась из Америки, где прожила год, и у нее все еще голова шла кругом от споров о личной независимости и свободе женщины принимать ответственные решения, от атмосферы наивного возбуждения, окружавшей ее в маленьком колледже на Среднем Западе. А тут перед ней сидел брат и, представляя дело так, будто для каждого здравомыслящего человека все это пройденный этап, предлагал ей образ жизни, за пределы которого она впервые осторожно выглянула.

Ацуко робко спросила, не собирается ли он сам прибегнуть к услугам «ледяного человека».

Немного подумав, Ёдзи ответил:

— Дорогая Ацу-тян! Вопрос чисто теоретический, ведь я никогда не женюсь. Да-да. Мой «ледяной чело-

век» должен быть из особого теста. Он должен знать, на каком боку я сплю, в какое время дня не выношу фиолетовый цвет, как чищу апельсин. Если найдешь мне такого, я не откажусь и от женщины, которую он приведет.

Стоит Ацуко теперь мысленно вернуться к этому разговору, ей становится не по себе. Неужели Ёдзи думает только о ней, проявляя рассудительность, неужели ему кажется, что он догадывается о том, чего она сама не знает, а уж ему-то и подавно знать не дано? Как объяснить, что перед ней он ратует за такой вариант счастья, который не прельщает его самого? В ее смутных мыслях возникает лицо Хидэо, простое, почти жалкое, бесконечно усталое от выражения кротости, не покидающего его ни на минуту. Она словно глядит в запотевшее зеркало, где движутся мужские тени, ей даже хочется теперь, чтобы не все они оказались порождением фантазии ее брата.

Ацуко обладает даром естественности, и не так-то легко поколебать ее непосредственную душу. Собственно говоря, рассуждает Ацуко, с ней ничего не может случиться по той пусть паивной, но веской причине, что это она. И дело не в том, что Ацуко так уж самонадеянна, скорее наоборот, просто она ощущает в себе нечто более значительное, чем собственные проблемы. Она могла бы быть и чуть больше уверена в себе. Ацуко только что исполнилось двадцать два года, она хорошенькая — не столько, может быть, в японском, сколько в западном вкусе, у нее не то чтобы хрупкая, но изящная фигура, копна иссиня-черных волос, в данную минуту собранных в конский хвост, открытое живое лицо — подчас кажется, будто оно излучает сияние, — плоские скулы, сочный, несколько крупноватый рот часто смеется, обнажая не очень ровные зубы, глаза смотрят из-под густых бровей. В ней есть что-то от деревенской девушки, какая-то застенчивая угловатость, вызывающая сочувствие, которого Ацуко не ищет. Можно представить, что ее подбородок с годами немного отяжелеет. Когда над ней подтрунивают, она передергивает плечами и встряхивает головой.

Попав в Америку, Ацуко не была так уж потрясена американской цивилизацией; справиться с чувством изумления ей помогли веселый характер и любознательность. Она старалась быть полезной людям, у кото-

рых жила, и они расхваливали ее умение приспособляться, считая, что в этой добродетели она ничуть не уступает американцам, и все горячее сожалели, что Ацуко не американка. Она почти стала американкой, играла в американские общественные игры — от благотворительных базаров до dinner party¹, — с удовольствием носила брюки и мини. На комплименты по этому поводу она реагировала без жеманства и кокетства, она вообще не понимала их смысла. Она не стремилась покорить чужую страну. В этом сыграл свою роль и климат фальшивой сердечности, царившей в семье, где она поселилась и где все события воспринимались несколько истерично. Под предлогом, что она должна быть дома по вечерам, когда семья собирается у фисгармонии, Ацуко сократила свои прогулки с неким коротко постриженным молодым человеком. Ее немного удивляло, что хозяйка, облегченно вздыхавшая всякий раз, когда Ацуко снова была дома, тем не менее ворчливо советовала ей не отказываться от новой встречи с этим молодым человеком. Ацуко считала, что хозяйке не следует так волноваться за нее. По-видимому, молодой человек полагал своим долгом обнять ее в машине: во всяком случае, получив сразу же по рукам, он явно обрадовался, что от него ничего не ждут. Она же хотела, чтобы он был порешительнее.

Только вернувшись домой, она заметила, что поездка в Америку не прошла бесследно. Все восхищались ее английским. Даже торговки рыбой из ее квартала требовали, чтобы она сказала что-нибудь по-английски, но она отказывалась с принужденной улыбкой. Однако за всем этим восхищением она очень хорошо чувствовала враждебность: кто выделяется, того немедленно отвергают, тот чужак. Ацуко попробовала последить за собой — ну хотя бы когда пьет чай с подружками. Она отметила, что берет чашку чуть раньше, чем они, и не так жеманно, что во время оживленной беседы ее локти не прижаты к туловищу и, разговаривая, она размахивает руками. Ее плеча стала менее гибкой, поворот головы — более резким, появилась привычка слегка расставлять ноги при ходьбе, простительная в странах, где женщины носят брюки, но необычная для

¹ Званый обед (англ.).

Яноши. Как раз к этому времени и относился разговор с Едзи о браке, тогда он посоветовал ей походить немного в кимоно, отчего традиционные манеры вернутся сами собой.

Это было разумно. И хотя стояло лето и узкий мешок был неудобен — особенно для электрички и поездов в город за покупками, — Ацуко подчинилась мягкому нажиму брата. Она заново училась ходить, немного согнув колени, выпятив живот и семеня ногами. К ней вернулось умение серьезно склонить голову набок — этим движением японская девушка то ли подтверждает сказанное, то ли берет свои слова обратно — и легкая мелодичность, отличающая девичью речь от резкой и прерывистой речи мужчин. Снова пригодилось умение приспосабливаться, теперь уже к тому, от чего она, было, отвыкла. Ацуко считала это вполне естественным: она не могла поступить иначе, не могла позволить себе такую роскошь в своей стране. Ей даже нравилось сознавать, что она, когда пожелает, снова сумеет стать другой.

И все же Ацуко трудно. Кто такой этот Хидэо? Друг Едзи? Допустим; хотя открывается, что между ними очень мало общего и, как ни послушаешь, они только и знают, что вспоминать старые школьные истории. Они разговаривают, стараясь, чтобы Ацуко их слышала; Едзи держит свои шуточки при себе, обрушивая на собеседника больше изысканных выражений, чем тот может или хочет воспринять. Так они убивают время, словно рыбаки на пруду, — эстет Едзи и физик Хидэо, а она подает им чай. С некоторых пор исподволь назревает что-то официальное. И раз, и другой отец остается во второй половине дня дома, когда у них Хидэо. Старший брат с женой и малышом проводит у них воскресенье; семья, уже существующая, и семья намечающаяся как бы образуют для пробы групповой портрет, который должен ей понравиться. А понравится ли он Хидэо?

Хидэо всегда тихий. Он выбирает место чуть в стороне, и порой Ацуко подозревает, что, если его не уговаривают пересесть, это вызвано либо стремлением скрыть, что за него пришлось изрядно побороться, либо тем, что его уже считают здесь своим. Возможны и обе причины сразу. Так или иначе, Хидэо сидел в углу

дивана, почти не раскрывая рта, сидел скованный и в то же время какой-то безучастный, и Ацуко становилось немного жаль его. У Хидэо тонко очерченное, пожалуй, слишком бледное лицо. Вероятно, если увидеть его сосредоточенным, оно покажется умным, сейчас же вряд ли его таким назовешь. Для своих лет он многого достиг. Сколько ему может быть? Ах да, Хидэо ровесник Ёдзи, но выглядит он лет на пять старше. Надо полагать, это результат типично японского воспитания в типично японской технической школе, где царит вечный безжалостный дух конкуренции. Хидэо производит впечатление человека, который пока что не может позволить себе иметь эмоции, да и не знает толком, что бы он с ними делал. Наверно, он и правда хороший сын, как между прочим, совсем между прочим, заметила мать Ацуко. Ее восхищает, что Хидэо уже сейчас помогает родителям, а кроме того, оплачивает из своего кармана обучение младшей сестры. Ну и что? Электронная фирма, в исследовательском бюро которой он работает, возлагает на него большие надежды; в будущем году Хидэо собираются послать во Францию для продолжения образования в какой-то туманной отрасли. Ацуко поедет с ним? Вполне естественно, что так думает Ёдзи; Ацуко почти уверена, что, если бы не Франция, он не стал бы вытаскивать на сцену своего Хидэо.

Временами Ацуко кажется, что она видит в глазах Хидэо едва уловимую насмешку: так было, например, вчера, когда ели в саду запеченную форель. Это могло быть и смущение. Японец, когда смущен, чаще всего презрительно улыбается, японская деушка — хихикает. А может, это все-таки была насмешка, насмешка над Ёдзи, который от нечего делать вырядился в скрипучие кожаные штаны, подарок какого-то немецкого приятеля, и выделывает свои штучки? Насмешка над церемониями, тогда как ему, с его техническим мышлением, все ясно и понятно, и чем скорее эта история завершится браком, тем лучше. Ацуко чувствует: новое сомнение пеленой обволакивает ее мозг, все плотнее и плотнее, а может быть, это слезы? Вот ее брат в баварских штанах отплясывает вокруг своего будущего зятя, и она одобряет его изящный танец. Вот на газоне стоит не шевелясь молодой человек: предназ-

начающийся ему танец явно раздражает его. В доме сидят растроганные родители, кивая головами. Ёдзи, Ацуко и Хидэо достаточно лишь повернуть головы в их сторону, чтобы присоединиться к их уже почти нескрываемому согласию, отчего Ацуко готова бежать без оглядки. Но неожиданно ее охватывает чувство товарищества, почти нежность к Хидэо.

Она вдруг понимает: ведь он тяготеет навязанной ему двусмысленной — наполовину ложной, наполовину сентиментальной — ролью. И это общее для обоих чувство неловкости объединяет ее с ним, с ним против Ёдзи, выделяющего свои акробатические трюки. Но нужно быть осторожной и не слишком явно показывать, что она сочувствует Хидэо. При сложившейся ситуации могут подумать, будто она колеблется. Родители поспешат объяснить это по-своему: наверно, Ацуко и самой хочется, чтобы все шло своим чередом. От нее ждут лишь однозначного «да» или однозначного «нет», третий вариант — просто добрые отношения — исключается.

Но в действительности Ацуко прекрасно знает: дело зашло настолько далеко, что произнести «нет» она уже не вольна. Так часто принимать молодого человека и в конце концов отказать ему — ничего доброго это не сулит, со всех сторон посыплются шишки, нетрудно представить себе тихие возмущенные упреки, продиктованные заботой о ее репутации, расстроенные лица. Ацуко даже думать об этом не хочет. Если японка, получившая хорошее воспитание, неправильно себя ведет, когда ей делают первое предложение, ее считают легкомысленной, а это почти столь же невероятно, как участие девушки в темных делах. И едва ли ей еще раз представится случай. Можно не сомневаться, что она останется одинокой, и чувство вины ее родителей, их тайная неослабевающая боль за дочь отныне будут мучить ее.

Но разве Хидэо не похож скорее на мужа, чем на жениха? Беда не в том, что он ей не нравится, просто что-то нарушилось в системе условностей: никак не возникла потребность в тихом счастье, составлявшем для прошлых поколений японок половину, если не все семейное счастье. Даже в своей стране Ацуко дышала воздухом другой цивилизации, и этого было достаточ-

но, чтобы поколебать устоявшиеся традиции и обратить настроение Ацуко упрямыми сомнениями. В то же время она считала себя чуть умнее Хидэо, но это «чуть» не давало ей никакого преимущества. Или все же давало? Могла ли она принести ему что-то, о чем он втайне мечтал, — более равноправную, свободную и искреннюю общность, нежели та, которую он знал до сих пор в своей трудолюбивой жизни, подчиненной лишь достижению успеха?

Благодаря интуиции и наблюдательности Ацуко знает, на какие ухищрения пускается японская женщина, дабы мужчина не заметил ее мудрости. Более того, она знает, сколько требуется дипломатии, чтобы не только скрыть свою мудрость, но и любую свою идею представить мужчине как его собственное гениальное решение. Это не постыдный паллиатив, а высшая школа женского искусства, где женщина, постигая тайны «мягкого метода», не только изучает свои права, но одновременно учится такту и хорошему вкусу. В браке мир мужчины строже отделен от мира женщины, чем до брака. Воспитательные реформы времен американской оккупации не прошли бесследно для молодежи; однако, вступая в жизнь, юноши и девушки вспоминают о своих более древних правах, которые, оказывается, никто не упразднил. Таких девушек, как Ацуко, меньше, чем их однокурсников, занимают модные политические проблемы, и в своих оценках они консервативнее. Но в житейских вопросах, в стремлении к счастью они проявляют гораздо больше смелости, предел их мечтаний — жить жизнью своего мужа; тут-то им наконец и пригодится, как они считают, их разностороннее воспитание.

Правда, если молодой человек, такой, скажем, как Хидэо, решает в один прекрасный день обзавестись семьей и если ему тридцать, то, не успев стать мужем, он уже оказывается в унаследованных от прошлого путах осмотрительности и предрассудков, в плену существующих законов и бесконечных обязательств, за которые ему приходится держаться по той причине, что его успех в жизни зависит лишь от него самого. Он может принадлежать к радикальной студенческой группировке, высмеивать императора, поносить общественную систему — это его дело (Хидэо, думает Ацу-

ко с оттенком презрения, ни на что подобное не способен), но если он зависит от этой системы, если ждет от нее не только хлеба, но хлеба с маслом, то неизбежно будет подчинен ее тихой, но жесткой дисциплине. Он постепенно привыкает к узде и, чтобы легче было смириться с принесенной жертвой, становится в конце концов частью того устойчивого порядка, который намеревался расшатать. При таком положении он не может позволить себе жениться на женщине, если для нее, пусть подсознательно, важнее всего идеалы личной свободы и собственное «я»; идеалы, которые он научился подавлять в себе, ибо боялся, что иначе ему пришлось бы сдерживать жизнелюбивые порывы; постоянное чувство вины перед собственной женой нарушило бы душевное равновесие молодого супруга и создало бы угрозу его безопасности, понимаемой им в духе древних феодальных образцов. В молодости брак представляется приключением для двух человек, тогда как на самом деле — это институт чести, семейное начинание, на первых порах политическое, потом экономическое, с четким разделением обязанностей между супругами, учитывающим их физические возможности. Японка, даже если она получила хорошее образование, не должна помогать мужу в его работе — этим она бы оказала ему дурную услугу. И пока хватает сил, она вносит свой вклад в семейное благополучие, выступая в роли, не соответствующей ее образованию, и должна и сегодня и завтра обеспечивать тылы, заботясь о своем уставшем на работе муже. Это требует длительного самоотречения и внутреннего такта и, как, вероятно, считает Ацуко, ограничивает возможности, позволяющие женщине проявлять самостоятельность. Если Ацуко сможет овладеть этой ролью, уходящей корнями в глубины традиций, тогда она имеет право рассчитывать на благодарность своего мужа. То, что она немного огляделась в мире, не аргумент в ее пользу, не бесспорное преимущество в браке, а скорее сомнительное, компрометирующее ее приданое, которое лучше спрятать под замок, причем спрятать понадежнее, полагаясь на собственное чутье. Короче говоря, чуткостью она завоеует доверие мужа.

Уместно все же спросить: сможет ли она полюбить Хидэо? Насколько она понимает, о большой любви ге-

ворить не приходится. Да и существует ли она вообще, большая любовь? В Америке, где любят легко и повсюду, Ацуко достаточно нагляделась. Когда она вспоминает о почти машинпальном и одновременно перенасытном и неумелом использовании главного слова, ей хочется взять Хидэо под защиту. В полупереховном колледже, где она училась, при общей атмосфере угнетающей апатии все были помешаны на сексе. Достаточно было малейшей двусмысленности, чтобы ехидные смешки, раздававшиеся по самому невинному поводу, перешли в улюлюканье; учитель выходил из себя, а по его адресу отпускались комплименты определенного толка — неотъемлемый признак акселерации. Трудно сказать, что больше коробило Ацуко — распространенный среди старшеклассников жаргон, скорее техпический, чем непристойный, или торжественно оживленный тон профессиональных воспитателей и исследователей, распространявшихся на эту тему в бесконечных докладах и психологических исследованиях и побуждавших Ацуко решать конфликты, которых у нее не было. Японцы ведь отнюдь не ханжи, и нет нужды обучать их называть вещи своими именами. В японском языке большая часть понятий из этой области имеет свои названия, и Ацуко употребляла их так же свободно, как и слова, обозначающие обычные жизненные явления, — они незамечимы, а потому непредсудительны. В профессорском доме считали, что надо «выждать»: девушка современных взглядов, и в голове у нее, бесспорно, сумбур. Выжидали, однако, терпеливо, потому что японцев не волнует проблема чувственного счастья, стремление к которому можно объяснить лишь неуверенностью в себе, недоверием к собственной плоти, стремящейся по этой причине все познать скорее и тем губящей себя преждевременно. Игра есть игра, у нее определенные правила. Социального порядка, но не морального, ибо понятие морального запрета, которому кое-где еще до сих пор придают метафизический смысл, связывая его с грехопадением и концом мира, японцам не знакомо. Если Ацуко и приходят подобные мысли, то рассуждает она так: если пришла пора и молодой человек здоров, с ним это случится.

И все-таки она мечтает, чтобы Хидэо хоть раз поцеловал ее. Но где? В пригороде к этому пока не при-

выкли, в кино любовные сцены вызывают смех, хотя ради них-то сюда и приходят, даже если идет японский фильм. Значит, в кино тоже пельзя. И все же ни за что Ацуко не хотела бы снова оказаться в Америке.

Что же дальше? Ацуко принимает неожиданное и, однако, при подобных обстоятельствах совершенно банальное решение — она отправится путешествовать. Разумеется, не одна: ее спутники — датчаде, муж и жена, коллеги отца по университету; Ацуко сможет попрактиковаться в английском и еще раз побывать на Хоккайдо, большом северном острове, который она хорошо знает. Сейчас лето, и нигде не найти места прохладнее, чем там, наверху. Доводов в пользу поездки на Хоккайдо, будь в них нужда, у Ацуко предостаточно. Главное же — ей нужно рассеяться, выиграть время, ей нужно как можно больше ничем не омраченного свободного времени, если угодно — времени для размышлений, когда хочется думать не о том, что уже в принципе решено, а о величественном ландшафте острова, о контурах его вулканов на фоне облачного неба, о лощинах, заросших дикими грушами и наполненных стенами всеми забытых айну, о кипящих источниках, бьющих из скал. Но супруги, с которыми она путешествует, хотя и не обсуждают с Ацуко ее проблем, постоянно возвращают ее к ним. Манера, в какой они намекают на предстоящие ей радости, неприятна Ацуко и в то же время возбуждает ее любопытство.

Как-то душным августовским днем, когда датчанин остался с головной болью в гостинице, Ацуко по пути на один из островков разговорилась с его женой и, поощряемая ее чутким вниманием, описала свое положение яснее, чем сама его представляла. И тут датчанка поразила ее вопросом: хочет ли Ацуко вообще выходить замуж? Через год она закончит учебу и с ее способностями и знанием языка получит интересную работу по специальности, а там, глядишь, и остальному наступит черед. Только когда она станет самостоятельной, когда ничто не будет мешать ей разобраться в том, чего она хочет, к чему стремится, разобраться в себе самой, тогда, быть может, она и встретит мужчину, которому сумеет не задумываясь сказать «да», уверенная, что не обманывает себя. Ну а если не встре-

тит? В таком случае лучше остаться одинокой. Брак без обоюдной свободы — брак, который трудно сохранить, не прибегая к крайним мерам, — это непоправимая ошибка, если не самоубийство, тут уж никто не поможет.

Так Ацуко услышала о новом варианте брака и стала мысленно к себе его примерять, как примеряют меховое манто, заранее зная, что оно не по карману. Ей показалась соблазнительной эффектная формула датчанки, но она, улыбаясь, объяснила своей спутнице, что принадлежит к категории людей, часто ошибающихся в выборе: например, она учится на педагогическом, хотя не имеет ни малейшего желания преподавать, просто ей нравятся детские книжки, и она бы с удовольствием переводила их с английского, но и для этого в Японии нужен университетский диплом. В остальном ее решение сделать карьеру, скорее, можно было бы назвать самоубийством. Она будет рада, если из нее выйдет домашняя хозяйка. По японским понятиям, она и так уже упустила время. Собственно, надо быть очень везучей, чтобы на тебя после шести лет университета кто-то обратил внимание. Ей хочется поскорее иметь детей, чтобы было кому читать детские книги.

Теперь настала очередь датчан удивляться. За время дальнейшего путешествия Ацуко самым естественным образом завела по меньшей мере дюжину знакомств с молодыми людьми — в основном студентами из разных уголков страны; она легко вступала в разговоры, но ее ни за что нельзя было бы заподозрить во флирте, не будь одной кокетливой нотки, которую Ацуко старательно прятала за отчаянной деловитостью. При этом она развивала такую активность, какая наверняка могла бы погубить серьезных молодых людей, если бы Ацуко не проявляла столько хитрой осмотрительности. Ацуко выбирает — пока еще не окончательно и полущутя, но, может быть, именно поэтому по всем правилам искусства, с такой спокойной, естественной, как сказали датчане, биологической оценкой фактов, что они, увидя это, перестали относиться к ней как к жертве «вековой отсталости» и сочувствовать ей. Она, надо думать, не пропадет.

Порой она держалась беспокойно, почти неестественно и была похожа на тот вулкан, на вершину кото-

рого отправилась однажды вечером в одиннадцать часов с группой студентов из Осаки. Вернулась она к завтраку, возбужденная и вымокшая до нитки, немало смутив датчанку отказом посвятить ее в подробности этого похода. Они даже пропустили поезд, чтобы окунуть ее, хотя она и упиралась, в горячий источник — таким способом датчанка надеялась предотвратить простуду. Это оказалось делом непростым: неподалеку была часовня и священник никак не мог взять в толк, зачем японской девушке в такое время лезть в источник. Тогда датчанке пришлось взять все на себя и увести Ацуко, которой было ужасно стыдно. Между тем они упустили и лодку, на которой намеревались отправиться на знаменитый птичий остров, расположенный неподалеку, и потому весь день до одурения слонялись по этому продуваемому со всех сторон портовому городку, над которым висел густой, ни на минуту не ослабевающий запах рыбы.

В конце концов они обнаружили причину запаха: две огромные кучи тухлых рыбьих голов на роскошном пустынном пляже; датчанин — странная причуда — взялся фотографировать их, отщелкивая кадр за кадром, женщины были вынуждены отказаться от морского купания, о котором они мечтали.

Именно здесь, переведя взгляд с груды рыбьих останков на едва различимую линию горизонта, Ацуко заметила: а почему, собственно, она должна все время проверять себя, вместо того чтобы хоть раз испытать Хидэо. Ей так хотелось бы, чтобы он сделал что-нибудь явно ради нее, а не по каким-то другим причинам. А что ее спутница скажет о таком плаче: Хидэо наверняка никаким спортом не занимается, может, он и на велосипеде ездить не умеет... Что, если попросить его ради нее научиться кататься на велосипеде? Пожалуй, они смогли бы тогда ездить осенью вдвоем на прогулки. Датчанка смотрит на нее удивленно. Ну и наивность! И это после того, как Ацуко сумела так ловко обвести вокруг пальца полчища мужчин? Ацуко смеется в ответ. А у датчанки появляется повод удивляться загадочной восточной душе.

Три недели спустя после возвращения с Хоккайдо Ацуко приходит к датчанам в гости. Ее пригласили посмотреть фотографии. Они приступили было к этому

занятию, как вдруг хозяйка заметила на пальце у Ацуко большой переливчатый опал. Долгая пауза, удивленно поднятые брови. Да, вчера состоялось обручение — говоря об этом, Ацуко резко вскидывает голову, но тотчас же, типично японским движением, низко опускает ее. Ацуко можно поздравить? Если угодно. До свадьбы еще далеко. Они снова возвращаются к фотографиранию. Две женщины с молодым медведем на цепи перед магазином сувениров. Ацуко со студентами сельскохозяйственного института из Саппоро — вышло чуть не в фокусе. Ацуко на фоне скал, запечатленных тысячами объективов. Снова Ацуко у самой воды.

— Где это? — спрашивает датчанка. — Не могу вспомнить.

— Ну как же, — восклицает датчанин, — ты стояла здесь, а слева еще был дом со смешной трубой.

— Да, конечно, — с сомнением в голосе произносит датчанка.

Датчанин быстро перелистывает страницы альбома, а вот еще такая же фотография Ацуко. Она стоит вполоборота, по щиколотку в воде, ветер раздувает юбку; ее взгляд из-под руки, закрывающей лоб, устремлен вдаль.

— А фильтр забыл снять? Не успел? Почему не успел? Если бы снял, виднее были бы облака.

Фигура Ацуко словно наклеена на белый лист бумаги.

— Мы ее увеличим к вашей свадьбе, — говорит датчанин, раскуривая свою неизменную трубку, и огонь озаряет его лицо красным светом.

И, будучи хорошо воспитана, Ацуко не решается отказать.

— Это отличная комната, — сказала сестра, открыв обитую кожей почти квадратную дверь, — и такая спокойная.

Мать, которую только что вел по коридору сын, высвободила свою руку из-под его руки, вошла, не задерживаясь, в комнату и при этом даже чуть выпрямилась. Сына это могло бы порадовать, если бы она хоть разок огляделась, но она не огляделась, не понюхала, чем пахнет в комнате, а он, как стоял с чемоданчиком и подспешниками в руках, так и остался стоять на пороге. Мать, можно сказать, просто вбежала в это незнакомое помещение, словно теперь-то наконец пришла на место, словно те несколько неуверенных шагов, что она сделала без чужой помощи, — последние шаги, завершение долгого бегства.

Сестра, принимая вновь прибывших, пояснила: сегодня воскресенье, вообще-то она старшая сестра, а сейчас только временно помогает, что она и старалась показать приветливостью и вниманием, и еще она показала, куда мать может повесить пальто. Это был намек сыну, что ему следует поставить чемодан и помочь матери снять пальто, как всегда не по сезону теплое, особенно если ехать от двери до двери в машине. Мать всегда делала вид, будто не понимает, к чему ей вообще-то теплое пальто. Уж если говорить правду, так она никогда и не покупала себе пальто. Пальто, обувь и шляпы, подаренные ей после смерти ее частных больных, еще вполне пригодны для носки, правда, они несколько вышли из моды, но и расставаться с ними жалко; почти все, что доставалось матери по наследству, после ночи, проведенной в богатом

доме у одра смерти, приходилось ей в пору, если не сразу, то через некоторое время, словно у матери не было своей собственной фигуры. Да, подснежники... с минуту он не знал, куда их деть, тогда старшая сестра — ее звали Урсулой — взяла букегик у него из рук и пообещала принести вазочку, за которой и пошла, не позабыв, однако, оглянуться на приехавших и убедиться, что они чувствуют себя неплохо.

— Пройдите на балкон, — сказала она. — Вот увидите, там вам будет очень спокойно.

Мать с сыном послушались ее совета; он отпер стеклянную дверь и пропустил мать вперед. Балкон — цементная дорожка под крышей, длинная галерея, разделенная решетками на множество отдельных кабинок, — был совершенно безлюден, как зверинец в плохую погоду. Да, что и говорить, тут спокойно, мать подтвердила сыну, что очень спокойно. С балкона был виден кусок двора с усыпанными гравием дорожками, дорожки пролегли между вскопанными, черными от дождя грядками роз, вели к пустым железным скамейкам и то тут, то там терялись в вечнозеленых кустах, шелестевших от сырости. Настоящего дождя, собственно, не было, но воздух был насыщен влагой, моросило, дорога к клинике напротив балкона была в серой мути, а задний план совсем заволокла мгла. Но в вышине трепетало что-то светлое, придававшее апрельскому воздуху какой-то оттенок, какое-то блеклое сияние, на которое голые деревья в саду отвечали красноватым отсветом. Они дожидались только более благоприятного дня, чтобы смягчить суровость этого сада памеком на зелень. А одно грушевое деревцо, словно канделябры свечами, красовалось бутонами. Может быть, мать доживет до той поры, когда оно будет красоваться цветами.

Она стояла на балконе рядом с сыном, и казалось, ничего не видит. Просто стоит тут, на балконе, пустом и таком спокойном. И всегда она так: когда нечего было делать, она просто стояла, и прежде тоже казалось, будто что-то у нее болит. Вот сейчас они могли бы поговорить; ведь в конце концов полгода не виделись, он был на Гиндукуше с экспедицией, изучавшей, чем питается одно из горных племен, неизвестное с карнесом. Сам он как метеоролог занимался образованием обла-

ков, что не имело никакого отношения к вопросу, интересующему экспедицию, но он настоятельно просил включить его в экспедицию, пренебрегая даже тем, что его могут взять просто из жалости. Он должен был наконец на какое-то время вырваться из дома. Мать ни слова не спросила о шести месяцах, проведенных вне дома, не спросила и о машине, которую он приобрел сразу по возвращении, чтобы иметь возможность разъезжать и не чувствовать себя таким потерянным. Машина понадобилась уже на второй день, чтобы отвезти мать в клинику, и она влезла в нее, ничего не заметив, будто в такси. Она даже не попросила его ехать осторожнее, не поинтересовалась, на какие деньги он купил машину и вообще нужна ли она ему. Это пугало его больше, чем ее похудевшее лицо или ставшая медленной и неуверенной походка. Будто он совсем и не уезжал или приехал не к себе домой. Он сказал, чтобы прервать молчание:

— Пойдем в комнату, без пальто еще холодно.

И опять она послушалась его так безвольно, что ему стало страшно.

Старшая сестра вернулась с вазочкой для орхидей, она поставила подснежники так, что головки их свешивались через край, ничего другого сделать нельзя, но улыбалась сестра все так же уверенно.

— Моя мать тоже была одно время сестрой, — сказал он.

— А-а, — отозвалась сестра Урсула.

— Это прекрасная профессия, — сказала мать.

Посидеть удобно в этой комнате было не на чем, мать попробовала устроиться на табуретке, и это тоже как будто вызвало боль.

— Пойди сюда, мама, — сказал сын.

В комнате было еще кресло-качалка. Но, когда сын взял мать за локоть, она упрямо вырвала руку; а ведь он не хотел насильно посадить ее.

— На нем тоже больно, — сказала мать и уцепилась за деревянные ручки.

— Вы не смотрели вчера телевизор? — спросила сына сестра Урсула. — Говорят, невероятно интересно, — сказала она. — Ах, эти развивающиеся страны... Я бы там жить не могла. Меня бы угнетало социальное неравенство.

— Да, нам хорошо, — сказала мать.

Сын оглядел огромную комнату. Она отличалась величавой пустотой дворянских покоев прошлого века, пустотой, поглощавшей скудную больничную обстановку: жалкое кресло-каталка, в котором мать не сидела, а, можно сказать, только примостилась, умывальник в углу, полки для всяких вещей и бесцветный шкаф. Впечатление материального предмета производила только кровать. Она выдавалась в комнату будто прямо из стены, хотя и была несколько от нее отодвинута, чтобы было легче поддерживать чистоту. Сын не отводил глаз от кровати, она казалась ему крепко сколоченным и под белым покрывалом замаскированным обманом, кроватью только для вида, сулящей с адской изобретательностью придуманные удобства, но не успеешь на нее лечь, как она обернется машиной, которая раздавит, искромсает и увезет тебя на спрятанных в ней колесиках бог знает куда.

— Мама, ты ведь здесь, кажется, тоже дежурила по ночам? — спросил сын специально для старшей сестры, но и для того, чтобы преодолеть чары кровати и выволить мать из плена страшной покорности, напомнить ей, что предметы в этой комнате еще не конец, что ими можно овладеть; как сильно нуждался он сам в таком утешении. Да, много лет тому назад она дежурила здесь по ночам, сказала мать так, словно теперь это уже и недостоверно и сестру Урсулу не заденет. Ах, мама, мама, зачем это зловещее чувство, что здесь ты наконец дома. И, слушая, как мать спрашивает сестру Урсулу о старших сестрах, которые были тогда, когда ее, сестры Урсулы, еще здесь не было, и как та дает ей понять, что сохранились только смутные предания о чепчиках прошлого века и туманные слухи, — слушая это и глядя на мать, он видел, как и она сама исчезает и собственное его детство становится тусклым, каким оно на самом деле никогда, никогда не было.

Он видел жизнь матери в клинических, как бы лишенных плоти чертах: девушка, которая от зовов собственного тела ищет спасения в работе, поначалу простой, а затем все более трудной и, ухаживая за больными, обретает, так сказать, счастье; но потом она поддалась на уговоры одного из своих больных, уже

немолодого чиновника, и он вытащил ее из больницы в жизнь, для нее уже чуждую. Видел, как ей позволено было вернуться в больницу, на этот раз чтобы родить ребенка и муками заплатить за его запятнанное кровью зачатие. Видел, как потом она любила ребенка, пока ему еще нужны были ее заботы, и как с каждым годом ребенок рос и с каждым годом все меньше нуждался в ее любви. Счастливые годы, пока он еще болел детскими болезнями, все более и более трудные годы, когда он уже не хотел, чтобы она его купала, да ведь и ванны-то настоящей не было — просто в комнате при кухне стояла железная ванна, в которую воду наливали ведром. Видел, как потом, когда она своими заботами до смерти уходила мужа, она снова ухаживала за больными, чтобы вырастить неразумного ребенка, который не хотел считать себя неразумным, чтобы уберечь его в трудные годы отрочества, чтобы сделать из него образованного, а главное — хорошего человека. Видел, как она отомстила обманувшей ее жизни утрюмостью, как, месяцами работая в больницах и санаториях, приобретала уверенность в том, что было еще смутно, уверенность, состоящую, пожалуй, только лишь в послушном выполнении предписаний врачей, и как потом быстро тратила деньги, скопленные таким трудом. Видел, как она, не успев выздороветь, собственно, не будучи никогда по-настоящему здоровой, снова ухаживала за больными, чтобы отработать долги. Видел, как она дежурила по ночам в богатых домах у постели умирающего, кутаясь в вязаную кофту, потому что в таких домах нефтяное отопление на ночь выключается; и ведь она не знала, чем в ночи, когда ее нет, занимается сын, которого кормили эти ее бессонные ночи, скажи ей, что занимается он плохими делами, она не поверила бы, что это правда, да оно и на самом деле не было правдой, сына уберегло чувство стыда — он стеснялся их убогой квартиры. Видел, как днем она никак не может уснуть из-за шума на улице, да еще и потому, что должна приготовить обед к приходу сына из школы, видел, как она варила ему «профессорский чай», когда он казался простуженным; как потом он все же стал не профессором, а самым заурядным студентом, а затем служащим в Центральном метеорологическом институте. Видел, как она в дожд-

ливое воскресенье, всего час тому назад, получила наконец возможность уложить чемоданчик — боль стала уже нестерпимой. Он видел, как она доставала из шкафа и укладывала в чемодан свои вещи — штопанные шерстяные штаны, льняное трико, нижнее белье, похожее на пеленки, и все тот же розовый корсет. Ведь теперь она больна, теперь ей нечего больше стесняться, даже сына, который как раз вернулся из экспедиции на Гиндукуш; все это ей теперь уже ни к чему. Он не выдержал непрекращавшегося беспорядочного хождения от шкафа к чемодану и обратно и стал смотреть в окно на дождь, который шел и шел без конца. И сейчас он знал только одно: дабы искупить свою вину за ту роль, что он играл тогда, когда мать уже работала сестрой, теперь ему будет позволено раз в день стоять у этой постели, в этом бессмысленно большом помещении, которое, по существу, зал ожидания. Чем он будет заниматься потом, куда себя денет, ну, это уже не причинит ей боли.

Потом сестра Урсула сказала, что, к сожалению, есть еще одна формальность, но, поскольку контора в воскресные дни закрыта, можно спокойно поручить ей ее выполнение. Сын не понял, что она имеет в виду, но мать, похоже, сразу сообразила, что означает этот больничный язык, и вытащила из сумочки серый конверт, из тех, какими пользовалась и для своих записок. Казалось, эти записки говорили о чем-то мучительном, но не выраженном ясно, а скрытом за всякими наставлениями. Почерк у матери — нечто среднее между рукописным и печатным — читался с трудом, в словах было много пропущенных букв, будто перо побоялось использовать всю отведенную ему строку, а потом судорожно пыталось втиснуться обратно и опять бежало прочь. На конверте это же перо вывело большими неаккуратными буквами «1500 франков». Сестра взяла конверт, пересчитала бумажки, а потом так скривила рот, словно собиралась сказать совсем не то, чего можно было ждать; она сказала, что очень сожалеет, но тут опять вышло *недоразумение*, обычное для врача, который направил мать в больницу: пациенту следует внести при поступлении 2500 франков. Но, нет, нет, мать она, разумеется, не винит в этом недоразумении. Время терпит, недостающую

тысячу можно, конечно, внести потом, сегодня же воскресенье, и прибавила, обращаясь к сыну, — платить у них принято паличными. Но задерживаться дольше она не хочет, она сейчас уйдет, имеют же мать и сын право поговорить накануне операции; поэтому она дала расписку в получении 1500 франков и ушла, пожав руку сыну — с *вами*, госпожа Бруннер, мы еще увидимся — и бросив взгляд на цветочки. Никто не умеет так деликатно уйти, как хорошая старшая сестра, это входит в ее обязанности.

Мать и сын сидели как на экзамене, вслушиваясь в замирающий звук закрывшейся двери; солнце тусклым пятном ложилось на пол и вдруг, как по заказу, ярко сверкнуло, настоящее чудо!

Воскресенье, как и все прежние; все воскресенья дома были смертельно тягостны. Сын принялся ходить, словно с какой-то целью. В тридцать лет он уже не мог подлаживаться к матери. Он вышел на минуту в коридор, там медленно шаркающей походкой шли, поддерживая друг друга, две престарелые дамы, одна была в капоте — это говорило, что в данное время у нее здоровье хуже, чем у ее спутницы; он вернулся к матери, закрыл за собой дверь. Каждое движение его было теперь *обдуманно*.

— Твой врач в своем деле дока, — сказал он.

«Дока» — он смертельно ненавидел такой жаргон, но по крайней мере в этом слове нет той покорности, что у матери. Только самому не поддаться, только не почувствовать себя снова ребенком, не смотреть на нее, старуху, не позволить ее голодному взгляду его ограбить. Не начать разговора об экспедиции, не то она отнимет у него и экспедицию. Но она его так ни разу ни о чем и не спросила. А ведь, по ее словам, она тридцать лет жила только им. Прежде она изредка ходила на лекции с диапозитивами, а теперь сын повидал подлинные картины — стада яков на сухих каменистых пастбищах, над которыми серые морщинистые горы высотой в четыре-пять-шесть тысяч метров упирались в облака, и небо в прозрачном горном воздухе казалось черным. А где побывала мать? Нигде она не побывала, полгода провела в Женеве, разве только повидала еще озеро Аннеси, где у семьи, за детьми которой она присматривала, была дача. От это-

го кусочка заграпицы сохранились фотографии, любительские снимки на берегу озера с каким-то подобием верблюжьего горба вместо горы на заднем плане, а на переднем, — в углу, девушка в простеньком платье грустно глядела из-под шляпы с полями. Ну, и дети, конечно. Когда их снимали, они не стояли смирно, как их бонна. Они как раз выплеснули из озера целый фонтан брызг и, разинув рот, глядели на висящие в воздухе капли, ясно было, что объект снимка — они, а бонна только декорация. И она была довольна, ничего лучшего она не знала, даже и тогда не знала.

Он взял лежащий перед матерью сложенный лист картона — прејскурант больницы.

— Знаешь, сколько стоит эта комната? — спросил он. — Сто семьдесят за день.

Она кивнула. Видит она его? Слышала, что он сказал?

— Это только за комнату и питание, — не отставал он. — За операцию отдельно, гонорар доктору, само собой, тоже, стоимость каждого лекарства подсчитана особо. Это сверх тех двух тысяч пятисот, которые они дерут с больного сразу при поступлении.

— Так много? — спросила она.

— Так много? — передразнил он. — Ты же была при этом. Тебе этого хотелось.

— Неправда! — сказала мать, и голос ее вдруг прозвучал криком. — Я сказала: простую комнату!

— Здесь простых комнат нет. Это частная клиника, здесь грабят пациентов. Должна была бы знать.

— Мне никто не сказал!

— Ты же не спросила. Они не идиоты. Надо было спросить.

— Я спросила, не моя вина, если они не все говорят.

— Кого ты спросила?

— Его самого. А потом он сказал, что эти вопросы его не интересуют, что мне надо выяснить с его помощницей, а та позвонила по телефону и сказала, что комнат с ванной больше нет, я сказала, а зачем ванная, мне бы только небольшую комнату, и тогда она просто заказала мне комнату.

— Да-а, — медленно протянул сын, посмотрев в прејскурант, — действительно, комнаты с ванной име-

ются, и стоят они двести сорок франков, это комнаты-люкс для кинозвезд и нефтяных королей, вот помощница и подумала: ничего, перворазрядная комната тоже сойдет для больной, не члена больничной кассы, тогда она все же истратит свои сбережения не за неделю, а за десять дней. — Он замолчал, зная, что более язвительные выражения не приходят ему в голову, что он не может несколькими убийственными словами навсегда заклеить эту беду. Но беда заключалась главным образом в том, что, сколько бы он ни злился, он все равно должен был выговаривать ей, матери, что она единственная его мишень, ибо против других он так же бессилен, как и она. Помощница врача сразу отвела бы его возражения, не говоря уже о самом враче. Кончилось бы тем, что ему, сыну, пришлось бы извиняться за свою бестактность, за желание болеть с меньшей затратой денег.

— Она ведь не знала, что я не состою в больничной кассе, — сказала мать.

Хорошо, мать. Она не знала. Хотя это и отмечено в карточке больного, но зачем ей было ее читать? Ты могла бы еще раз сказать ей это. Но зачем? Может быть, этим ты добила бы только одного: она не была бы с тобой так необдуманно вежлива. Может быть, врач посмотрел бы на тебя с нетерпением. К чему было рисковать? Все равно пришлось бы примириться с самым тяжелым, дорогим и печальным. Такие мы люди. Должны радоваться, что нас оперируют.

— Очень уж надолго ты уехал, — сказала мать.

Он промолчал. Его пронзила гордость смертельно усталого человека, гордость, что на это замечание матери он может промолчать. Потом сказал, сам не зная, как это у него вышло:

— Ну и дерьмо!

Он ничего не имел в виду, это же ясно, правда, мама? Ведь при тяжелообольном не станешь так ругаться, просто ни с того ни с сего сорвалось с языка. Ведь она же его не таким воспитала. Самое большее ему хотелось немного поспорить из-за пустяков, хотелось давно привычного, всю жизнь не прекращавшегося и в конце концов до смерти надоевшего спора из-за пустяков. Она тоже не стала спорить — для этого она слишком страдала.

— Не следует употреблять такие грубые слова.

Правильно, мать. Спрашивать и расстраиваться из-за каких-то пяти раппенов нам не стоит, лучше будем платить за день сто семьдесят франков, которых у нас нет, и, как нам то и подобает, молча согласимся, дабы не краснеть. Но выразиться неизящно мы еще не раз сможем. Мы же знаем, тут уж ничего не скажешь, выиду господом богом нам данного великого нашего неразумия. Ах, какие мы с тобой сообщники, мать. Чем только мы не досаждали друг другу! Сколько неелепых хлопот доставляло нам обоим старание угодить друг другу! Возьмем хотя бы подарки, мать. Я никогда не знал, что тебе подарить, ты ведь не позволяла себе говорить о своих нуждах, тем паче о желаниях, даже самых скромных, да и они казались тебе чрезмерными. Что дарит мать сыну? Жизнь, правильно, это уже что-то. А потом? И в день рождения, и в другие дни? Во все те годы, когда ему нужны уже не игрушки, а «нечто настоящее», и тогда вместе с подарками она всегда давала ему чек: так ты сможешь это обменять. Откуда ей было знать, что ему нужно, кроме тех дней, когда он болел. Раз она подарила ему цепочку с двумя позолоченными магнетиками — зажим для галстука, а он тогда уже давно не носил галстуков. Но она этого сознательно не замечала. А вдруг эта модная вещица сотворит чудо и превратит сына в прежнего аккуратного, причесанного на пробор, не по годам умного мальчика, каким он ей нравился. Позже, когда он шел или к чужим — «чужими» она называла вообще всех, — или к себе в студенческую комнату в центре, она любила оглядеть его, одернуть одежду. Эту комнату, пользуясь каждой его отлучкой, она, словно доброжелательное привидение, содержала в большой чистоте. Быть там ей было ни к чему, важно, что она там побывала, о чем и говорила комната. Так образ матери, когда им уже не о чем было говорить, прятался в проникнутой тишиной, чисто прибранной комнате. Никогда не бранила она его за неаккуратность — ведь только его неаккуратность приближала ее к нему.

Сейчас она глядела устремленным в себя, потухшим и неуступчивым взглядом, который ребенком он считал свойственным всем матерям (более изящные

матери его школьных товарищей только притворялись, они были просто дамы, а совсем не настоящие матери). Потом, когда он подрос и охотно вступил бы с матерью в спор, такое ее лицо отпугивало его — ведь с ней нельзя спорить, — оставалось на выбор: или молчание, или громкий крик.

— Я не лягу в эту постель, раз она так дорого стоит, — сказала мать.

Он сказал возможно холоднее:

— Ляжешь, и даже очень скоро.

— Я хочу в другую комнату.

— Теперь хотеть уже поздно. Больница сама распорядается своими комнатами. Пациентов нельзя перемещать из комнаты в комнату, как приезжих в гостинице из номера в номер. И у других больных комнаты тоже слишком дорогие.

— Ты, может, сидешь? — спросила мать. — Ты плохо выглядишь. Нет ли у тебя жара?

Он почувствовал, как сразу скис. Да, она борется лучше его, вот по этой самой причине он никогда не мог с ней бороться. Сейчас он мог сделать только самое меньшее — не сесть, а это было чудовищно мало.

— Я думала, не больше семидесяти франков за день, — сказала она. — Когда я тебя рожала, это стоило двести франков за все.

Да, мать, как я теперь буду жить без тебя?

— Знаешь, мама, — сказал он тихо, — в кантональной больнице это не стоило бы и половины, а уход был бы лучше.

— В кантональной больнице! — воскликнула мать. — Не говори мне о ней! Я-то знаю, как там! Я не сколько лет дежурила там ночами! В кантональную больницу я ни за что не пошла бы!

— Да, умирать, так с музыкой, — сказал сын.

— Что делать, если мой врач оперирует только здесь, — сказала мать.

Он проглотил просившийся на язык ответ, теперь ему уже не хотелось отвечать. По чьему-то, совсем незначительному, по какому-то едва уловимому сопротивлению было ясно, как далек он был от нее; по крайней мере, ясно для него. Он смотрел на мать, сидящую в каталке, на жалкий букетик перед ней; да, надеяться не на что, и она этому рада. Вот она, миленькая девуш-

ка в шляпе с полями на берегу озера Аннеси, затем женщина, в болях, покорно выполняющая свой долг, рожаящая, а позднее эбнуущая у постели умирающего, и, наконец, здесь, в больнице, сама тяжелобольная — и все эти годы одно и то же голодное, непонимающее и строптивое лицо, признающее только работу и жертву. И сейчас в этом кресле-каталке перед ним все то же капризное, смакующее бедность лицо, все равно какая бы это ни была бедность. Для нее нелености этой комнаты — своего рода экстравагантность, последний изысканный способ воспротивиться жизни. Она доказала жизни свою правоту в наказание за то, что у нее не было жизни. И упрекать себя ей не в чем, особого старания она не приложила! Он видел, как мать прячет скопленные ею гроши в белье, которое она так ни разу и не надела, как за годы растут ее сбережения, собранные по двадцать—пятьдесят раппенов, а затем размененные в мелкой валюте на радости, подавленные, неподсчитанные и не принесшие радости, — ведь смысл в ее кладе был один: выкопать его в день крайней нужды. А радостей все-таки не хватало, вот и приходил наконец этот день, день крайней нужды, и тут уж не успеешь и оглянуться, как он съедал те несколько баценов, что уцелели. Еще полубольная, мать снова начинала копить деньги, вымученные и выстраданные уходом за больными, отложенные на черный день, и единственным их применением по-прежнему оставалась новая тяжелая болезнь. И теперь она принесла их сюда, в этот огромный покой, а он, ее сын, стоя перед ней, должен смотреть на нее; и при этом — нет, он не ошибся — она еще улыбается жалкой плутоватой улыбкой. Видишь? Ты не ожидал от меня такого? 170 франков в день и никаких сбережений: такое ведь не со всяким случается? Тут никакие твои доводы не помогут, правда? И он кивал или качал головой. Проницательность его была поколеблена, и это против его воли вызвало у него слезы, поэтому он открыл дверь на балкон, вышел на воздух и предоставил прохладе осушить слезы. В конце этого апрельского воскресенья солнце все же осветило сад.

Когда он вернулся в комнату, молоденькая сестра занималась там рукой матери. Локтевой сгиб под

бледной кожей был желто-черным, значит, ее уже раз коялоли, а он и не знал. Он видел, как кровь без всякого нажима течет по всунутой почти горизонтально игле в пробирку, которую держит сестра, а затем она переливает кровь во вторую, не пролив ни капли. Тщательность и чистоплотность этой процедуры наводила на мысль о старых аптеках и бакалейных лавках.

— Я пойду, мама, — сказал он, увидев, как она спокойно сидит и какое облегчение отражается у нее на лице, дома она никогда не бывала такой.

Мать открыла глаза и сказала:

— У меня еще что-то есть для тебя.

Сестра, сильно покраснев — вероятно, она была из деревни, — подождала, пока набежит доверху вторая пробирка. Затем вставила ее в подставку, взяла ватный тампон, нажала на иглу и вытащила ее. Мать поспешно прижала пальцами тампон и освободила сестру. Тут она не терялась, знала, что надо делать.

— Спасибо, сестра, — сказала она.

— Все еще наладится, — сказал сын, а мать по-прежнему держала большой палец на тампоне.

Она кивнула, с больничным лечением она была хорошо знакома. Возможно, наркоз ее даже немножко радовал; она еще ни разу не была под наркозом. Теперь сестра сняла вату и почти одновременно, можно сказать чуть не тем же движением, заклеила место укола пластырем. Мать, словно подарок, прижала к груди обработанную сестрой руку.

— Погоди, — сказала она и опять принялась рыться в сумочке, ища второй конверт. — Вот, когда будет время, прочитай. Ничего важного нет, просто я кое-что написала.

Он сунул конверт во внутренний карман.

— Ну так, мама, — сказал он. — Значит, до завтра. Вот увидишь, ты ничего не почувствуешь, а потом...

— Да, да, — сказала мать. — Смотри, поезжай медленно. Хорошо? По воскресеньям вечером всегда большое движение.

Он кивнул в ответ, потом, стоя на пороге — дверь открывалась трудновато, — кивнул еще раз и матери, и сестре. Мать уже расстегнула молнию на спине и теперь нащупывала под платьем подвязки. Сын, закрывая дверь, толкнул одну из тех двух престарелых дам,

которые, все еще поддерживая одна другую, медленно, шаркающей походкой ходили по коридору. И толчок, и извинение они приняли как нечто должное. Он поспешил дальше, твердая резиновая подошва на одном его башмаке громко чавкала, будто при каждом шаге хотела крепче присосаться к покрытому пластиком полу. Не дожидаясь лифта, он быстро сбежал с лестницы, словно спеша куда-то; затем, уже в машине, ощущая спиной и бедрами новую тугую обивку сиденья, он не спешил. Медленно и решительно врезался он в поток уличного движения, и тут же, сверкая фарами, замкнулась за ним колонна машин. Наконец машины одна за другой стали сворачивать влево. У зоопарка, на стоянке, он задержался: смотрел, как усаживается семья с вертушками, тетушками и двумя детьми, которых пристегнули ремнем к пластиковым стульчикам. Наконец вся семья сидела в машине и, казалось, чего-то ждала. Он долго не понимал, что они ждут, когда он тронется — он преградил им дорогу. Теперь ему не хотелось сразу же снова останавливать машину. Он поехал по дороге вдоль решетки зоопарка, возможно, по этой дороге проезда не было: встречные пешеходы, пропуская его, отходили немного к сторонке, их все прибавлялось — к вечеру погода разгулялась, шли целые компании, требовалось больше места. Он долго делал им ручкой, приветливо улыбался, давая понять, что, само собой разумеется, только по необходимости вторгся он на эту воскресную дорогу — то ли по служебным обязанностям, возможно, он ветеринар и в экстренных случаях пользуется специально ему разрешенным служебным проездом, то ли местный житель, которому дано это право.

Но вот уже кончились дома, дорога вела в лес, от туда на вечернее солнышко выходили компании гуляющих. Напор на его жестяную коробку рос, то тут, то там он видел, как чья-то физиономия через переднее стекло уставилась на него, тут улыбки уже не помогали. Еще издали увидел он на столбе знак, запрещающий верховую езду. Теперь нетрудно было понять, что машине тут и вовсе нечего делать. То, что машина совсем новенькая, как будто не примиряло, а, скорее, злило гуляющих. Здесь уж каждому было понятно, что

он не зря, не с добрыми намерениями так протискивается вперед. Поэтому он свернул на размытую луговую полосу между дорогой и пашней, можно сказать почти на пашню. Ведь стемнеет же когда-нибудь, и он сможет вернуться в город, не привлекая внимания; а если, не дай бог, полиция? Ну, тогда он скажет, что вернулся с Гиндукуша, болен и сбился с дороги. Полгода в Азии, вы не поверите, как там отвыкаешь от здешних привычек, просто не знаешь, как себя вести, когда, только что возвратившись, сталкиваешься с таким вот воскресным днем, когда ты еще, может быть, не разделался с малярией, когда после разлуки свиделся с матерью.

Видя машину на такой неположенной стоянке, люди осмелели — заглядывали в машину, трогали ее, стучали по кузову. При каждом вздохе сын ощущал у себя в кармане письмо матери. Его подмывало вытащить письмо и начать читать или сделать вид, будто читает. В детстве он часто прибегал к такому выходу из положения, и это помогло ему стать разумным мальчиком, радостью матери. Что могло быть написано в письме? Наставления следовать тому или иному примеру, не сворачивать с прямого пути, знать во всем меру, быть за все благодарным, иногда молиться? Он знал словарный запас матери, за который она должна была крепко держаться, чтобы не отдать себя во власть тому, о чем и подумать страшно, — во власть страстям, жизни, грязи. Что у тебя было, мать? Ничего. Ты только попусту тратила высокие слова, а заодно и свои силы. Только изредка могла ты позволить себе большое несчастье, и это все.

Он положил правую руку на спинку сиденья, что рядом, так было легче дышать. Лица гуляющих не были схожи, достаточно было на них посмотреть; а некоторым, как взглянешь на них, приходилось даже отворачиваться. На дороге все еще было много людей, но ему уже никто не грозил: дожидается, верно, кто-то. Рука на спинке сиденья — значит, место рядом с ним занято.

Посмотреть на зоопарк можно было только через левое плечо, да и то сильно повернув голову. Далеко позади гуляющих виднелись большие длинноногие птицы, стоящие в бесцветной траве, зеленевшей только у

пруда, где плавали птицы поменьше; сейчас, в лучах заходящего солнца, зелень казалась даже слишком сочной. А дальше, за живой изгородью, вырисовывались на фоне неба большие крупноголовые животные, они стояли в ряд, ожидая, когда стемнеет. Яки — бык с двумя коровами. Бык сделал несколько шагов, волоча за собой клоки своей лохматой шкуры. Человеку в машине этого не было видно, но он это знал, ведь на Гиндукуше он еще недавно трогал эти самые меховые клочки. Бык повернул к стойлу; вслед за ним двинулось его маленькое стадо и исчезло в тени под крышей.

— Ступайте, ступайте, — сказал человек за рулем. — Ступайте домой.

Пожалуй, он долговато сидел, прижав голову к плечу; может, те, что шли из лесу, подумали: ненормальный какой-то. Эта мысль вдруг развеселила его. Да и холодно становилось. Он завел мотор, зажег стояночный свет, подал задним ходом на боковую проселочную дорогу, затем двинулся вперед по опустевшей улочке. Уже в городе, снова очутившись в колонне машин — вечер был по-настоящему весенний, — он мысленно составил несколько фраз для работы, которую собирался написать, о том, как образуются над Гиндукушем облака. Слова легко приходили на ум, и он не хотел уступить и страха ради отказаться от них. Теперь он больше не нуждается в опеке. Милая мама, думал он, я не буду читать твое письмо. Ты ведь написала его не потому, что ждешь ответа, ты написала его потому, что разговора у нас не получается. Мне хотелось бы поговорить с тобой еще раз. Не о главном, главное мы уже знаем. У меня это страх за тебя, у тебя — за меня. Почти такой же страх за другого, как боязнь другого. Боязнь каждого следующего слова, которым очень хочешь сказать все, что касается нас, и не можешь сказать ничего. С этим страхом, с этой боязнью мы жили все время и так сжились друг с другом, что жизнь без тебя для меня смертный страх. Смертный страх за меня, не за себя — страх за себя ты уже списала со счета, — увидел я в твоих глазах. Страх, как бы я не нанес себе какого вреда, когда ты уйдешь, когда уже не сможешь опекать меня, мало ли что может случиться: простуда, любовная история и

самое последнее. Чтобы обеспечить для меня эту опеку, тебе на всякий случай нужен бог и его жизнь после смерти — не думаю, что ты сама надеешься на будущую жизнь, — вот потому тебе и нужен кто-то, в кого у тебя больше веры. И болезнь твои тоже связана со мной: она пришла оттуда, откуда пришел я; я подарок, как ты считаешь, полученный тобой не зря, потерю его нельзя допустить, чего бы это тебе ни стоило. Что я тут, связано с тобой, с самой ненадежной, внушающей опасение частью тела. То, что мне бы не хотелось быть к этому причастным, ничему не поможет. Ты не хочешь знать, как это произошло, но я произошел от тебя. И какой бы страх это тебе ни внушало, желанием твоим было, чтобы вышло нечто стоящее, чтобы из меня вышел настоящий человек. То, что у тебя не хватило умения прожить жизнь в добром согласии с твоим желанием, произошло потому, что ты не знаешь людей, и меньше всего того человека, каким являешься сама. Ты сочла, что от людей можно требовать совершенства, и предусмотрительно потребовала этого прежде всего от себя, и не наша с тобой вина, что мы с этим не справились. Всего этого я тебе не напишу, ни словом не обмолвлюсь. Я должен придумать сюрприз для тебя, что-нибудь самое обыденное, о чем мы можем говорить и не спорить. Этому ты меня не научила и, верно, страдала, что это не в твоих силах; страдаешь и по сию пору. Мне сейчас пришло в голову: может быть, ты могла бы обрести спокойствие в моих движениях и мыслях, спокойствие, которого в общении со мной тебе не хватало. Возможно, что это спокойствие успокоило бы тебя больше, чем любая молитва. Милая мама, это последнее письмо, больше я тебе писать не буду. Завтра мы с тобой побеседуем. Я начну с Гиндукуша, вот увидишь, ты боялась напрасно, хоть Гиндукуш и далеко от нас, но там со мной не приключилось ничего такого необычного, о чем нельзя было бы рассказать. Может быть, тебе трудно будет говорить, тогда я что-нибудь расскажу для начала об Азии. Может быть, ты поймешь, увидишь, что меня занимает нечто новое, но и самое обычное тоже. Может быть, тебе станет легче, что мне «подарено» то, чего ты не могла мне дать, что у меня есть надежда на такую жизнь, которая в твоих глазах, вероятно, вели-

кая милость — надежда на обыкновенную хорошую жизнь изо дня в день, на знакомство с интересующим меня делом и хорошими людьми, которые еще будут, когда тебя уже не будет. Твой сын и понятие об искусстве жить, разве это не сюрприз для тебя? Милая мама, завтра вечером я опять приду, к этому времени тебя, верно, уже привезут в твою комнату, тогда, быть может, мы и побеседуем по-хорошему.

ДАЛЬНИЕ ЗНАКОМЫЕ

Какое-то время я оставался один в комнате. Вещи я еще не распаковал. Они стояли в ногах кровати: чемодан, пластиковая дорожная сумка, туго набитая носильными вещами. Я разглядывал ваши вещи, они стояли кругом в надлежащем порядке, но как-то тесно, будто их в спешке, без всякого сожаления сдвинули с привычных мест. И даже часть желтого пола, куда сестра вкатила мою кровать, представилась мне брешью в некоем непрочном, но ощутимом порядке, в который словно вошла пустота в этом месте. Теперь это место заполнил я. На столе в углу у окна я увидел пачку газет и журналов, термос, томик Бёлля «Групповой портрет с дамой», коробку маленьких бутылочек пива, пакет яблок, вскрытую пачку сигарет, никаких цветов. На спинке стула висела ваша темно-розовая пижама из ткани с вафельной выделкой. На ночном столике между кроватями стоял магнитофон, телефон без диска, мисочки с разноцветными таблетками, тазик, полный ампул, покрытые марлей шприцы — необходимая здесь принадлежность. В углу у окна на зеленом пластиковом кресле висел ваш утренний халат. Одеяло на вашей постели, поверх которого я смотрел в окно, было кое-как брошено. Комната была на первом этаже, окно выходило в парк, напоминающий палисадники нуворишей: сумах, газончик пампасовой травы, несколько лиственниц, валуны, высохший искусственный ручей. Чужеземные растения, сквозистые, с оголенными ветвями, вырисовывались в низком, без просветов, небе.

Когда меня перевозили, в стеклянной трубке катетера показалось немножко крови. Я старался не поддаться страху.

Вдруг послышался какой-то звук, похожий на откашливание, потом вроде какие-то слова, бранные, неразборчивые, произнесенные как будто про себя. Я наблюдал за одеялом на вашей кровати. Оно вздымалось и опускалось. Я пытался дышать в такт с движением одеяла, но ритмичность его движений часто нарушалась, и я сбивался. Иногда оно оставалось неподвижным. В коридоре сестра мне сказала, что вы добродушны, но порой бываете несколько резким. Я не представлял себе, что под этим одеялом может быть место для человека.

Сестра принесла мне небольшой бандажик, в виде пояса для подвешивания мочеприемника. Теперь я мог встать и разложить свои вещи. Я думал о том, что вы, вероятно, радовались комнате на одного, а теперь вот разочарование. Я решил, что займу как можно меньше места и почаще буду уходить в коридор, несмотря на неловкость показываться в больничной рубашке и халате, кое-как надетом из-за катетера. Мне было велено как можно скорее начать прыгать, приплясывать: камни в почках — это не опасно, только болезненно, и прыганьем больной облегчает выход камня.

В шкафу все мои вещи не уместились, книги и бумаги пришлось сложить на ночном столике. Из-за чертовой бутылки-мочеприемника, которую пелегко было уладить под рубахой, я, нагибаясь и топчась, почувствовал: меня что-то царапает под ключицей, но так высоко это, пожалуй, от катетера не могло быть. Маленький столбик крови в стеклянной трубке продолжал подниматься. Когда я, снова укладываясь, перевешивал бутылку с одного крючка на другой, вы сидели на краю вашей кровати, спиной ко мне. Вы были одеты, на вас была светлая рубашка, а на стуле висели соответствующие пиджаку брюки. Роста вы несколько ниже среднего. Волосы зачесываете на затылке с двух сторон к середине. Я видел, что вы принадлежите к людям, с которыми я обычно не встречаюсь.

Вы слегка повернули голову ко мне, я увидел блеск зрачка в уголке глаза; так продолжалось довольно долго. Я улегся поудобнее, сказал «добрый день» и назвалса. Только тогда вы повернулись ко мне всем корпусом, словно раньше не были уверены, есть ли кто-нибудь в комнате. Вы соскользнули с кровати, положили

руку на край ее и сейчас же отняли. Прищурившись, посмотрели в мою сторону, сделали несколько шагов, остановились у кровати, оглядели вещи на своем столе и сказали: «Простите, я, кажется, тут уснул». Когда вы сказали «тут», я почувствовал боль где-то внутри, в плече, потом вы назвали свою фамилию, которую я уже раньше прочитал косо написанную на дощечке в металлической рамке, когда сестре пришлось у двери развернуть мою кровать. Сестра сказала мне только «ваш сосед». Вы говорили четко и рассудительно, речь ваша казалась старше вас, вам, что я тоже знал от сестры, всего двадцать два года. Но когда вы без видимой необходимости передвигали на своем столе вещи, вы стояли, как пожилой человек, и я понял, что мне незачем говорить вам, чем я болен, так как вы о своей болезни не захотите сообщать подробности.

Своеправное выражение вашего лица не изменилось и тогда, когда вы читали у окна газету, держа ее наискосок и близко к глазам. Читать вам было уже нелегко, мне стало стыдно.

Вечером я убедился, что вы можете быть резким. Вы объяснили сестре, что брать кровь у вас завтра утром было бы бессмысленно, не дало бы ничего нового для врачей. Было ясно, что вы кое-что понимаете в своей болезни, и вас раздражают ни к чему не приводящие меры борьбы с ней, в лучшем случае благожелательные.

Вечером нас посетил врач; до его прихода мы мало разговаривали. Вы ни разу не начинали разговора. А когда это делал я, вы с такой старательностью отвечали, что я опасался, не утомил ли я вас. Мысли, произнесенные тяжелым вашим голосом, приобретали нечто телесное.

Врач признал вашу правоту относительно анализа крови, рекомендовал ряд других мер, с которыми вы, чуть-чуть помолчав, от случая к случаю соглашались. Сидели вы при этом на краю кровати, не глядя на собеседника. У меня создалось впечатление, что возможности, которые могли вам предложить, давно вам известны и неоднократно обговорены, тем разборчивее вы останавливались на одних или других. Вы не стремились непременно отстоять свою правоту, но в конце концов болезнь была вашей болезнью. Со мною врач,

бегло обрисовав течение моей болезни и пообещав освободить меня от катетера, заговорил о других вещах. Его занимал один спектакль, и он интересовался именно моим мнением о пьесе, перелистал книгу, лежавшую на моем ночном столике. Потом принесли ранний больничный ужин, и врач, сказав, что не хочет нам более мешать, ушел.

Позднее в этот длинный вечер я, поддерживая свою бутылку, ходил по коридору взад и вперед. Неожиданно вы показались из глубины нашей комнаты и жестом позвали меня. Я испугался, но это был всего лишь телефонный звонок ко мне.

Кому-то я рассказывал о состоянии здоровья, а вы в обычном костюме вышли из комнаты.

Через короткое время я хотел позвать вас обратно, это оказалось непросто, по-видимому, у вас неладно со слухом. Здесь, в коридоре, подчеркнуто сказали вы потом, вы хорошо себя чувствуете. Я почти уже переступил порог нашей комнаты, когда услышал, что вы прибавили, будто всегда с удовольствием двигаетесь. Вы не могли быть уверены, что я вас все еще слышу, я и в самом деле не сразу разобрал, что вы сказали, и вам пришлось все повторить. Вы стояли там, в этом длинном, желтом, уже вечернем коридоре. Я зашел в комнату и закрыл дверь с беспокойной мыслью, что вы, быть может, все еще продолжаете что-то говорить.

Около восьми часов я увидел вас в общем зале. Вы играли в карты с тремя пожилыми людьми. Около одного из них тоже стояла бутылка-мочеприемник, другой, моего возраста, был, что называется, кожа да кости. Поздоровавшись, я стал смотреть сквозь густой табачный дым телевизор, настроенный на большую громкость. Я охотно сделал бы потише, но игроки одновременно слушали телевизионную передачу. Позднее пришли еще другие больные, одни мужчины, все смотрели веселую рекламную передачу, в которой было много блеска и изобретательности, и, наконец, началась развлекательная программа. Картежники закончили еще одну партию и только тогда повернулись к телевизору. Никто из них не изменил позы, сидели все так же согнувшись. Глядя на конференсье, который как раз что-то пел, вы рассказали о молодежькой шотландке, безбожно эксплуатируемой развлекательной

индустрией. Закончили вы свой рассказ, когда ведущий опять уже что-то болтал. Двое из ваших партнеров понимающе кивали, один сказал: «Да-да, у вас, значит, здесь есть друзья».

Мне показалось, что интерес, с которым я смотрел обзор событий дня, неприятно удивил их; я посмотрел еще две странички этой программы и вернулся к себе.

Писать письма я не мог, стол был вашим столом; я передвинул трубку своего катетера, лег и начал читать.

После десяти часов вы пришли; я дал вам понять, что не стоит вам начинать разговор только потому, что мы здесь вдвоем. Вы переоделись, надели пижаму со светло-голубыми шортами и почистили зубы. По дороге к кровати сказали, вы надеетесь, что вы не храпите, а я извинился на тот случай, если мне придется два-три раза встать. Потом вы неожиданно рассказали, что ждете трансплантации, но пока еще не найден подходящий орган. Если врач считает, что нужно попытаться произвести трансплантацию, то доверять его мнению было бы самое разумное; это и есть самое разумное, что вы можете сделать, — доверять мнению врача.

Болезнь — не ваша тема. Вы заговорили о ней, чтобы к этому больше не возвращаться, вам не хотелось, чтобы ваша болезнь интересовала меня только потому, что вы о ней не говорите. Раньше, чем погасить свет, вы еще предложили мне пользоваться вашим столом, дескать, вы редко здесь бываете, завтра, например, вы на диализе. Я сказал, завтра я на гимнастике, мне прописано прыгать, как только снимут катетер. Вы на это сказали, что камни в почках — неприятная штука, вы об этом слышали, и катетер тоже неприятная вещь.

Ночью я проснулся от страха, мне приснилось, что у меня образовался тромб и тромб этот вот-вот оторвется и его пригонит к сердцу. Вы громко с судорожным жалобным стоном дышали, шумно втягивали воздух, как жаждущий воду. Я лежал, холодея от страха и от сопротивления, смешанного с сознанием вины. Потом ухватился за историю, которая произошла несколько десятков лет назад в лагере альпинистов-бойскаутов: друг моей юности сорвался со скалы и с перевязанной головой вернулся в лагерь, чтобы переночевать в палатке... Ты спишь рядом, твое дыхание касается моего

уха, и, когда дыхание становится глубже, оно сдвигает в твоей голове некое слабое сопротивление, некий сгусток крови, и я представлял себе, что каждый твой вздох с отвратительным звуком вроде нашептывания тащит его за собой сантиметрах в двадцати, не более, от меня. Я говорил себе, что ты мой друг, что ты страдался больше меня, что мне следует радоваться тому, что ты жив, что ты спишь около меня. Но ничего не помогало, я вынужден был тебя оттолкнуть, отодвинуть, повернуть, ты всхлипывал, не просыпаясь, но наконец задышал в другую сторону, и тогда я заснул.

Таков, значит, был ваш язык, таково было то, о чем вы днем молчали. Снова и снова пытался я синхронно дышать с вами. На меня снизошел странный покой, я почти примирился с тем несовладаемым, что было в вашем теле, и это превозмогло страх, родившийся во сне, я почувствовал нечто вроде счастья от того, что стал старше, и, когда снова проснулся, теперь от мысли, что приемник катетера там, на крючке, возможно, уже сухой и воздух сейчас хлынет в вены, я прислушался к вашему дыханию и вскоре опять уснул.

Утром я смотрел, как вы вкалывали иглу шприца себе в бедро, вталкивали ее так спокойно, будто это желтоватое тело уже не ваше. Сестра расправлялась с моей рукой, короткими движениями срывала пластырь за пластырем, я почувствовал тянущую боль в вене. Катетер уползал; дергать не должно, сказала сестра и привела случай, когда один конец застрял у больного внутри и последствия были весьма тяжелыми. Только когда она сказала «так!», я повернул голову и испугался: катетер, в некотором роде тонкая, как струна, кишка, забрызганная каплями крови, оказался ужасающе длинным, значит, то, что он мог очутиться вблизи сердца, — не плод моего воображения. Я испугался потому, что мои страхи в больнице всегда оправдывались.

Вы сидели в своем углу, прижимая чашку ко рту, нет, лицо к чашке, так оно было. Курс ваших «акций» сегодня был низким, я об этом слышал и сердился на вас, потому что меня одолевал страх за себя.

Теперь я мог вдеть руку в рукав, поэтому отправился к киоску, купил две газеты и пару пирожных.

Вы с удивлением взяли газету, пирожное взять отказались — с семимесячного возраста вы страдали сахарной болезнью. Меня поразила эта цифра, я убрал в шкаф оба пирожных и забыл о них. Когда меня выписывали, они были уже несъедобны, но я взял их с собой и дома выбросил.

Вернувшись с прогулки по коридору, я обнаружил на своем ночном столике мелочь рядом с тщательно сложенной газетой. Вы уже ушли на диализ, и ближайшие часы были в моем полном распоряжении, как и опустевшая комната — вашу кровать укатали вслед за вами. Только костюм ваш висел на пластиковом кресле. Через открытое окно вливался ноябрьский воздух, и в комнате долго еще было свежо. Я отзвонил по всем нужным мне телефонам. Надеялся, что теперь, когда вы вернетесь, частых звонков ко мне больше не будет, вам ведь еще ни разу никто не звонил, и никто вас не навестил. Когда звонил я, вы выходили из комнаты, и я не знал, как убедить вас не делать этого.

Со мной вы никогда не смеялись. На какую-нибудь легкую шутку отвечали неопределенным возгласом без слов, означавшим нечто вроде: да, бывает!

Два-три раза я слышал, как вы смеялись в вашей карточной компании, несколько позднее остальных; высказывать свои мысли по разным поводам — тут вы больше в своей стихии. Суждения ваши касались вопросов общественного устройства, безобразий с самолетами, преимуществ и недостатков терапии, метод взвешивания в ваших рассуждениях был, по-видимому, вам ближе других; «с другой стороны» — это ваше излюбленное выражение.

Во второй половине дня, когда вы уже вернулись, ко мне пришли гости, целых трое сразу. Вы хотели выйти в коридор — в нашей комнате не хватило стульев. Но я настоял на том, чтобы мы где-нибудь устроились и там потолковали; в коридорах иногда удавалось найти не занятый уголок, где можно было посидеть и поговорить. Когда я через два часа, забыв о вашем существовании, вернулся в комнату, вас там не было, маленькая комната показалась мне вдруг большой для нас обоих, чуть ли не излишне просторной. Цветы, принесенные моими посетителями, так и лежали в бумаге. Я опустил их в вазу с водой и поставил на шкаф,

единственное свободное место; со шкафа видны были только их головки. Я надеялся, что не забыл поблагодарить своих гостей за цветы. К вам на стол я цветы не поставил.

Позднее я увидел у вас на руке искусственную фистулу.

В пятницу утром вам позвонили по телефону. По привычке я снял трубку и еще успел, хотя вы были уже за дверью, позвать вас. Голос в трубке был мужской, и я остался в комнате, сначала остался; надеясь, что в другой раз вы из-за меня тоже не выйдете из комнаты.

Вы взяли трубку, переложили ее из одной руки в другую, как будто это было что-то неприятное, потом приложили к уху; позднее держали ее то у левого, то у правого уха. Вы говорили в трубку, ни разу не кивнув и не обернувшись. Из ваших слов я заключил, что речь идет о том, чтобы встретиться в городе и что для вас это затруднительно: вы не знали кафе, куда вам предлагали прийти. Это было известное кафе, вся молодежь знала его, даже туристы, вы же слышали о нем впервые.

Я окликнул вас по имени и сказал, что растолкую, как туда добраться. Вы повернули ко мне голову, сказали в трубку: «Одну минуту, извини!» — и опустили трубку, тогда как на том конце все еще что-то говорили. Я повторил свое предложение и направился к дверям, услышав еще ваш вопрос: «Ты еще здесь?» И потом: «Господин доктор объяснит мне, где это».

Оттого что меня посещали, приносили цветы, звонили по телефону, оттого что я в карты не играл, а смотрел только обзор событий дня, вы стали титуловать меня доктором. Я стоял у двери в коридор, с удовольствием пошел бы сейчас попрыгать, но я не верил больше, что у меня камень в почках. О книге Бёлля я не мог говорить с вами.

После обеда я начертил вам на листочке из блокнота, где расположено кафе и как туда доехать трамваем. При этом я узнал, что вы служили и служите в Доме для престарелых и что вы не считаете эту работу тяжелой. Семья ваша живет в соседнем Баден-Вюртемберге. Там же кое-кто из братьев и сестер, большинство из них старше вас, отца вы давно не видели, это ведь

довольно далеко отсюда. Да и нехорошо было бы постоянно видаться. В нашем городе вы работаете уже четыре года, поэтому и говорите на нашем диалекте. О матери вы ни словом не упомянули. О том самом известном кафе вы случайно не знаете, в центре вы, однако, неоднократно бывали, и очень это подчеркнули.

Мне рассказал наш врач, когда вас не было в номере: как-то он читал в Доме для престарелых лекцию о болезнях, в том числе о серьезных; после лекции к нему подошла одна из обитательниц Дома и обратила его внимание на вас. Сказала, что повар, то есть вы, жалуется иногда на явления, о которых он, врач, только что говорил, вообще же эта дама отозвалась о вас, как о внимательном и очень порядочном парне, порой, однако, нетерпимом. Так вы попали к врачу. На расспросы врача вы сказали, что и раньше знали то, что слышали на лекции, но старались временами забыть о том.

Мне врач в эту пятницу предложил отправиться домой на конец недели, лекарства он мне с собою даст и номер своего телефона тоже, если я хочу.

После ужина я застал вас в коридоре, вы стояли под одной из этих желтых ламп. Изучали план, который я нарисовал вам. Я сказал, что и я получил отпуск, поэтому самое простое, если я подвезу вас в нужное вам кафе, мне по дороге, моя машина здесь. Вы ответили, что это очень любезно, но сначала вам надо заехать домой, кое-что там захватить и переодеться. Я предложил отвезти вас сперва домой, а потом в кафе. Но ведь это большой крюк, сказали вы, а я ответил, что время у меня есть, на что вы, согласившись, несколько раз кивнули головой.

Когда мы сидели рядом в машине, вы показались мне ужасно маленьким, положительно утонувшим в мягком сиденье, позднее мне пришло в голову слово «покорно», это было не то слово. Я подавлял в себе желание называть улицы и площади, по которым мы проезжали. Вы сложили руки на коленях, набрякшие руки. Я обрадовался, когда вы проговорили: «Вот здесь, пожалуйста! Одну минутку».

Перед нами на небольшом холме высился Дом для престарелых, о котором вы сказали «надо заехать домой». Порывы сильного ветра обрушивались на мою

машину, я видел, как вы, застегивая на ходу пальто и подавшись всем корпусом вперед, подпымались, пожалуй слишком быстро, по неровной дороге. Мне не хотелось терять вас из виду, я повернулся в другую сторону. В саду слева стоял засыхающий золотарник, взгляд мой потонул в его зарослях, упорно, упрямо и сбивчиво раскачивающихся под ветром. Сад был неухожен. Гортензии и малина, несрезанные и несобранные, засыхали в наступающих холодах. Георгины бурели там, где совсем недавно — это еще чувствовалось — стояли в цвету: хозяин не позаботился выкопать клубни, сохранить до следующего года. В глубине, наполовину скрытый темно-зелеными елями, стоял дом, серая, облупленная глыба с островерхой крышей. Ставни, свежескрашенные в голубой цвет, так же, как и ворота, светились голубизной. К ногам подкрадывался холод.

Я включил радио, оно забормотало что-то наукообразное о мерах, о рекомендуемой сдержанности, об антициклическом поведении, о болезни или о чем-то еще, неизвестно о чем.

Но вот вы, шумно дыша, сели в машину, в руках у вас был небольшой пакетик. «Не выключайте лекцию, если она вас интересует», — сказали вы. Мы поехали в кафе, известное всем в этом городе. Говорили о ваших коллегах, о том, возможно ли иметь коллег в Доме для престарелых, где вся жизнь построена в соответствии с их потребностями. Тем не менее там бывают лекции не только на тему о здоровье, но и о чайках, и об империи инков, иногда устраивается и вечер песни, Шуберт. Работа не тяжелая, важно только немножко думать. Ведь пожилые люди должны жить диетически, как вы выразились. Этого никогда нельзя упускать из виду. Очень хорошо, что проблемами старости начали теперь серьезно заниматься широкие круги, и кое-что предпринимается, чтобы облегчить столь ущербную стариковскую жизнь. С другой стороны, старинам нелегко идти навстречу этому движению. Здесь, вероятно, требуется некоторый психологический подход, умение перебороть у старых людей страх.

Увидел я вас снова только в понедельник утром. Я спал, когда вы вернулись, и проснулся от ощущения суевы, беспокойства, от с трудом приглушаемых голов. Одна из сестер заслоняла собой вашу кровать, по-

том появился врач и еще несколько сестер пришли; я попытался читать какую-то книгу.

Комната опять была вашей комнатой.

Вдруг вы произнесли мое имя. Из-за спины наклонившейся над вами сестры я увидел ваше лицо, вы обращались ко мне по имени, так, словно мы были одни, и тихим голосом, отчетливо выговаривая слова, спросили, хорошо ли я провел славный воскресный день; я ответил утвердительно. «А вы? — спросил я. — Да, вы тоже!» И вы рассказали, пока сестры хлопотали над вашим телом, что в субботу вы очень поздно вернулись домой. Сначала в одном кафе немножко выпили, потом — в другом, потом еще в одном месте, о котором я, вероятно, и понятия не имею, там дым коромыслом стоял, народу тьма, музыка. Минутами вы кусали губы от боли, но, притерпевшись, продолжали рассказывать, не торопясь, сдержанно. Это не был потерянный вечер, стоило, считали вы, потратить на него здоровье. Раньше трех часов почти никто домой не вернулся.

Я кивал, смеялся вместе со всеми незнакомыми мне людьми, среди которых и вы были не последним; вам за себя краснеть не пришлось, вы могли бы мне это доказать.

Несколько позднее вы лежали неподвижно, множество трубок вело от ваших рук и ног ко множеству сосудов, вы лежали скованный, как Гулливер, тайно храня в себе богатырские силы, хотя лицо ваше, такое спокойное, осунулось; оказалось, что вам прописано вливание крови и многое другое, что могла предложить наша больница.

Когда вас увозили, я не разбудил вас пожеланием: всего вам хорошего.

Каждый день каникул, если было не слишком сыро, Лора с Ивонной отправлялись туда. На Ивонне желтые резиновые сапожки, их края хлопают по коленкам, будто хотят схватить девочку. Разве Лора виновата, что она не вырастет? По утрам, когда Гуго уже заканчивает свой кофе и газету и ему давно уже время уйти, ребенок все еще сидит за столом и дожидается, очень медленно, свой незатейливый завтрак.

— Тебе незачем ждать, пока она закончит, — говорит Лора. — Опять пошел дождь, — произносит она, когда шум его машины уже замирает вдаль, и обе смотрят в окно на кусок мокрого леса в дымке тумана, словно это и не июль месяц.

— Мы пойдем к кроликам, — говорит Ивонна с чашкой у рта, которая никак не пустеет. Слова ее звучат так, будто Лора ей уже возразила.

Лора каждый раз идет с ней к кроликам.

Для семилетней девочки кролики вряд ли такая уж соблазнительная приманка. Но Лора знала, кролики только предлог. Что притягивало девочку — так это ржавая землечерпалка, паровой каток, грузовик.

И Лора, так же как вчера, идет шагов на десять позади желтых сапожек, обводя глазами зеленую стену мокрой листвы. Возможно, сегодня удастся что-либо увидеть или услышать, белочку или зов сойки, и на какой-то миг можно будет отвлечь ребенка.

Лора «размышляла». Ее вдруг огорчило, что «размышления» всегда сводились к пустым фразам по поводу всяких «планов», которые так никогда и не осуществлялись. Она опять и опять принималась думать. «Девочка не без трудных черт», — думала она и испу-

гальса раздражения, которое при этом почувствовала. Она может еще пугаться — это, пожалуй, хорошо. Но мысль, так легко последовавшая за первой: «Вот отчего с ней так трудно», вывела ее за порог раздражений. Не потому, что первая мысль была неверна — Ивонне не свойственно было то, что люди обычно называли «трудными чертами», она не была «трудным» ребенком, — а потому, что вообще эта мысль могла возникнуть; полагаешь ведь, что справляешься с такими явлениями. И вслед за раздражением и дурнотой всплыло, принося облегчение, истинное чувство: страх. Теперь она поняла, почему задыхалась при ходьбе. Слово было найдено.

Итак, она решительно ничего не понимает.

Вчера дома был вечер со слайдами, принимали гостей. Эрих и Лиза демонстрировали свою добычу, вывезенную из поездки на Корфу; досмотрев, сидели перед светлым четырехугольником на стене, и никто не включил верхний свет. Гуго сказал:

— Ну а теперь порно.

Вынужденный смехок, ответивший ему, не превозмог тишины. Жужжание вентилятора воспринималось как шум в ушах.

— Да, были бы мы теперь такими, как когда-то, — проговорил в полумрак Эрих, и женский голос откликнулся:

— Когда-то мы не были такими.

И тут слышалось покашливание, чье-то легкое покашливание.

То была Лора, ей нечего было сказать, она встала и включила верхний свет. Все увидели: на своем стуле одиноко сидел ребенок в канареечно-желтой ночной пижаме и щурился.

— Ивонна! — воскликнул кто-то.

Услышать девочка ничего не могла, да ничего особенного и не было сказано. Поэтому было неприятно, что Лора так повела себя. Она не взяла ребенка на руки или за ручку, а потрясла его за узенькие плечики и закричала:

— Тебе здесь нечего делать! С восьми часов ты в кровати!

И эту фразу, явно бессмысленную, она повторила еще раз.

Гуго, смущенный хозяин, отнял ребенка у Лоры, чтобы отнести его наверх, и не упустил возможности еще раз «показать» его друзьям. В проеме двери головка Ивонны откинулась от головы отца, словно сломалась. Кто-то счел нужным заметить, что дети не столь нервны, если окружение соответствующее — дружная семья, взаимное доверие. Слезы вызывают кривотолки, Лора это знала, но ничего не могла с собой поделать; так случилось, и почему надо всегда все прятать от других. Заговорили о стрессе.

Вскоре затем — треск заводимого мотора в палисаднике, в свете вспыхнувших фар ядовитая зелень декоративных деревьев. Сцена из спектакля под черным, дождливым небом. Удаляющийся шум набирающей скорость машины. Как трудно будет все это опять свести вместе, этих людей со всем тем, что кое для кого утратило всякое значение.

— Тебя ведь ничего не связывает, попытайся создать что-либо свое, — сказал Гуго за завтраком на следующее утро или через два дня. — Мне кажется, что тебе легче распределить свое время.

Гуго, по собственному его выражению, стал «женским психологом».

Ничего особенного, Гуго. Устала. Не тревожся.
(Очень меня трогают твои тревоги.)

Лора любила, когда была моложе, бродить под дождем.

— Смотри, клинтух! — крикнула Лора. Подъем давался ей с трудом. Всегда. Это не признак старости. Возможно, признак ее внутреннего протеста против неровностей почвы, сужения горизонта. Гуго дразнил ее: по ней, мол, лишь бы все было *ровное*. Это было несправедливо, как многое другое, и говорилось только, чтобы подразнить.

— Ты меня слышала? — спросила Лора. От преодоления трудного подъема голос ее прозвучал слишком настойчиво, поэтому она засмеялась. Смутилась перед ребенком.

Ивонна живо обернулась, кивнула, взгляд ее будто выражал: очень пуген мне твой клинтух или чего это ты так стараешься.

Лора пыталась думать: надо нам как можно скорее устроить настоящие каникулы. «Настоящие» — в этом

слове крылось ожидание чуда, другими словами, чего-то ненастоящего. Было приятно воображать себя особой, устраивающей себе «настоящие» каникулы. Она была довольна, что в этом году, когда у Ивонны наступили первые школьные каникулы, отпал совместный отпуск. Культура бактерий требовала ежедневного контроля со стороны Гуго, ассистент не справлялся, а ехать куда-нибудь одной с ребенком, как предложил Гуго, ей не хотелось, брешь, которую создало бы его отсутствие, она не желала восполнять каким-то особым умением держать себя. Не представляла, как подать отсутствие супруга. Да еще хлопоты, связанные с переездом. Надежда отдохнуть — что это такое и зачем? В веселую минуту она назвала последние совместно проведенные каникулы в шале, которое они сняли, «альпийские грезы»¹. К счастью, там, кроме обилия коров, неподалеку оказался новый супермаркет. Ходячее представление, что высоко в горах иначе себя чувствуешь, сделало их обоих несносными («несносный» — от одного этого слова опять подступила к горлу тошнота). Сорвались тогда оба, разразился скандал с битьем посуды, которым они чуть ли не гордились, такое случилось впервые, скандал «очистил» атмосферу. Между попытками заговорить почувствовали то, что зовется горным воздухом, вдыхая его, много бродили и по крайней мере загорели. Совершали прогулки, даже небольшие экскурсии, по вечерам были игры с ребенком, домино, больше обычного читали, меньше обычного курили.

И вот крик клинтуха, он взволновал Лору, но откуда ребенку было все это знать и понимать ее взволнованность.

Не доходя до лесной опушки, дорога разветвлялась, когда-то она была, вероятно, туристским маршрутом. Там, где она сворачивала в пшеничные поля и уходила между холмами полусозревшей пшеницы в ложбину, Лора остановилась, залюбовавшись видом. Вглядев устремлялся через поселок, потонувший в летней, до черноты темной зелени, на озеро, на предгорья Альп,

¹ Здесь игра слов: Alptraum (нем.) — кошмар — состоит из слов Alp — горное, альпийское пастбище и Traum — сноведение, мечта, греза.

на очертания дальних строений в горах. Лора, точно прощаясь, сорвала на ходу несколько листочков с крайних кустов лесной опушки. Листочки остались в руке, она растерла их и понюхала пальцы. Названия кустов она не знала.

Прихоть что-то обрывать мимоходом не оставила ее и в поле. Через каждые песколько шагов она обрывала по колоску. Ощупывала зерна, проводя по колосу сверху вниз. Пшеница. Это она знала. До самого кладбища у нее из головы не выходил клинтух, который, возможно, был просто вихрем. А голос этой птицы ничего ей не говорил, и в ней все замолкло. Осталось только голое слово, временами на губы падала капля дождя, и она слизывала ее. Она почему-то почувствовала удовлетворение оттого, что дождь идет в открытом поле.

Еще были живы старики, которые говорили «воздух», имея в виду ветер. Говорить о воздухе, как о таковом, было им незначем.

Сразу за кладбищем, еще скрытая высокой стеной, находилась цель, к которой уже шагов за двадцать до нее бегом бросилась Ивонна: это была окольная грязная дорога, за пригорком (старая свалка общины, теперь зазеленевшая) она вела к какому-то строению. Точнее, к нескольким хижинам, расположенным вокруг сарая с его жилой частью, обведенной кирпичной стеной. Сваленные как попало доски, трубы, кирпич, железная арматура вместе с крольчатником как бы составляли двор. Новым здесь был только крольчатник; своей поблескивавшей окраской он производил впечатление некоего диковинного обитаемого жилища. Из сарая выступал грузовик без щитков, без радиатора и без кабины. А вся эта выцветшая рухлядь — строительные машины, землечерпалка и каток — выстроилась друг против друга на покрытом лужами дворе. И за всем этим где-то обитал человек. Иногда он показывался в рабочем халате, проходил не здороваясь, на вид лет шестидесяти, худой, однако крепкого сложения, но не сторбленный — роста, скорее всего, маленького. Лицо желтое, с темными кругами под глазами, шкиперская борода и потухшая сигарета в углу рта. Лора держала пари с Ивонной, что он носит очки, однако проиграла.

Лоре самой никогда не пришло бы в голову, что сюда можно свернуть с тропинки. В первый раз она пошла за Ивонной только для того, чтобы уговорить ее не ходить туда, где, совершенно очевидно, частное владение, да к тому же еще и грязь повсюду. А потом решила — пусть себе девочка карабкается на эти машины, однако все время чувствовала некоторую неловкость, готовая в любую минуту принести извинения. Удалось ей это только на третий или четвертый раз, но человек, едва обратив на нее внимание, видимо несколько не обеспокоенный их присутствием, прошел мимо по каким-то своим неведомым делам. Вот так все и было, они по-прежнему совершали свое «наломничество» к кроликам, как это теперь называлось.

Ивонну удалось нагнать: она собирала растущий по краям дороги клевер для кроликов, там, «у того человека», клевера нет, объяснила она Лоре. Там только крапива, золотарник и полынь — настолько хватило у Лоры знания ботаники. Где-то она прочитала, что в Германии после войны появилась «флора развалин» — растения, которые ни раньше ни позже в этих широтах не произрастали. Лоре всегда представлялось, что «флора развалин» бывает только на юге. Ивонна все собирала клевер, точно хотела нарвать его для букета.

Лора, стоя рядом, смотрела сверху вниз на девочку, сидевшую на корточках, в синем плащике и в сапожках, собравшихся гармошкой. В эти дни нередко случалось, что Ивонна казалась ей где-то очень далеко. И сон видела Лора, будто Ивонна у нее в чреве, она свернулась, обхватив руками головку. Но это не был эмбрион. Осталось чувство: она теряет ребенка. И еще одна внезапно осознанная мысль в ту минуту, когда она чистила зубки Ивонне: эти челюсти, увлажненные слюной, — часть черепа.

Ивонна пустилась бегом. Вода в лужах переплескивалась через сапожки: на то и надеты сапожки. Лора в своих мягких сапогах (из оленьей кожи) осторожно обходила лужи и потому отстала.

Когда она вошла во «двор», там уже началось. Началось всегда с большой землечерпалки, ее сохранившиеся блеск черпаки стояли торчком. Пучок клевера лежал на гусеницах. Раньше Лоре приходилось помогать Ивонне подняться в машину, теперь Ивонна сама

уже сидела на высокой скамейке, двигала рычагами, некогда приводившими в движение машину, служившими для поднятия и опускания ковша, для вгрызания его зубцов, для поворота на месте, для отсыпки земли. Ивонна сменила землечерпалку на каток, он был меньше, он не давал такого простора воображению. Сидя в седле, можно только надсадно рычать, больше из катка ничего не выжмешь.

Когда Лора была такой маленькой девочкой, как теперь Ивонна, она однажды спросила у матери, как это называется, когда смотришь и ничего определенного не видишь. Мать ответила, не вникая: «Бессмысленно уставиться в одну точку». Но верно ли это? Разве пельзя вот так же «уставиться» на что-либо определенное? «Грезить», как это назвала учительница, тоже не то. «Уставиться», «грезить». Они хотят что-то отобрать у тебя, называя такими словами то, чего у них самих больше нет. У них для этого только слово осталось...

Глаза у Лоры не похолодели: она улыбнулась. Фотографию такой именно маленькой играющей девочки ей хотелось бы иметь. Но отец требовал, чтобы улыбались, глядя прямо в аппарат, над которым он склонялся. Он всегда фотографировал только однократно, снимок не смел быть неудачным, и на нем непременно надо было уместить как можно больше объектов. Снять Лору отдельно, да так, чтобы она еще куда-то «бессмысленно уставилась», это было бы уж слишком большой роскошью. На «моментальные снимки» не было денег или же в них не видели смысла, хотя такие фотографии, да еще с юмористическими надписями, демонстрировались потом как «моментальные снимки». Но как же все выглядели на них с этими вымученными улыбками! Насколько все было по-другому, если, «уставившись» куда-то в пространство, смотреть в зеркало. Не так четко, но зато...

Лоре тогда ужасно хотелось, чтобы отец «щелкнул» ее в углу сада, когда она лезла на ореховое дерево, да еще в воскресном платье. Но нет, он не стал бы ее фотографировать, а велел бы сейчас же спуститься. Тот, кто хотел сфотографироваться, должен был, во-первых, собрать всех вместе и, во-вторых, улыбаться, а у нее, у Лоры, улыбка никогда хорошо не получалась. Хоро-

шо она выходила только у тех, кто в ней тренировался, как тренировались всю свою бедную жизнь тетя Гермина и дядя Оскар...

Фотоаппарат с «автоспуском». Иногда отец им работал. Да, именно «работал». Приказав прежде всего всем замереть, он, словно ища прикрытия, неся к собравшемуся семейству, по дороге несколько раз оглядывался (не сдвинулся ли штатив), затем втискивался между своими, те лихорадочно отодвигались, давая ему место, кого-то он схватывал за руку слева, кого-то справа или обнимал кого-то за плечи, причем тот не смел шевельнуться, аппарат в это время жужжал и внезапно умолкал, как будто прикончили жужжавшую муху, и тогда все начинали дышать, окаменевшие лица оживали. В результате отец на снимке улыбался, как умирающий, но сам он в этой улыбке ничего плохого не видел, он себе нравился. Опять и опять принимался он фотографировать, иной раз ухлопывал на это весь прекрасный воскресный день.

Тут Лора чуть было не всплакнула, но только теперь. Через десять лет после его смерти. Скоро десять лет, как она замужем. Да, год траура они с Гуго еще соблюли. «Год траура».

Гудение мотора доносилось теперь из-под навеса сарая, Ивонна ехала на грузовике. Щелчки переключения скорости здесь тише, грознее. Слабый дождь брызжет в лицо, быть может, это каплет с бузины. Ветер. Как говорили в старину, «воздух». Отец назвал ее Элеонорой, потому что, как он говорил, Гёте был для него «превыше всего», но Лора никогда не видела какой-либо книги Гёте у него в руках. Она опять улыбнулась и вдруг настороженно огляделась, что-то ее беспокоило...

Увидела, что именно, и убрала улыбку. Она встретила взгляд, взгляд старика, который повернулся и вошел в дом. Он следил за ней. Давно ли?

Она сняла с землечерпалки пучок клевера и, взглянув вверх, на грузовик, позвала:

— Пойдем, надо навестить кроликов.

Ивонна быстро соскочила. Она взяла из рук Лоры клевер и сквозь дырочки в проволочной сетке стала совать его стеблями вперед в теснящиеся, почуявшие пищу мордочки. Нанюсенок, не очень ловко, зверьки

пытались зубами ухватить зелень. Когда не удавалось сразу, они дергали с силой. Пожирали все, вместе с цветком, только большой пятнистый кролик, которого Ивонна почему-то назвала «венгром», выплевывал головку цветка. Лора кормила зверушек расчетливо: иногда пыталась какого-нибудь обойденного зверька кончиком травинки привлечь в более спокойный угол клетки, что ни разу ей не удалось. Разборчивые обжоры предпочитали бросить начатую травку и последовать за свежей порцией.

Ивонна кормила кроликов небрежно. Ей еще ни разу не захотелось взять какого-нибудь из них в руки.

Она не дождалась, пока зверьки покончат с ее пучком клевера, и убежала к грузовику. Дождь усилился. Лора надела накиннутый на плечи плащ в рукава.

Она не видела, как он подошел. Она не успела оглянуться, как он коснулся ее груди через незастегнутый плащ.

— Можно мне потрогать вас, — спросил он, — я давно не прикасался к женщине.

Она посмотрела на руку, которой он проводил по ее груди, — на светлой блузке черная неотмытая рука. Взглянула ему в лицо. Что-то на этом лице прочитала и мгновенно поняла, что на нем отразилось, что начало разглаживать эти морщины.

Она продолжала не торопясь кормить кроликов. Издали это выглядело, вероятно, так, будто они в чем-то помогали друг другу или что-то делали вместе. Ничего не случилось, кроме того, что рука его, соскользнув с груди, прошла по животу и там немного задержалась. Лора почувствовала запах его дыхания, пресный, человеческий: он был трезв. Потом он убрал руку и сунул ее в карман своего рабочего халата.

— Не простудитесь, — сказал он беззвучно.

Ему, видимо, захотелось осилить непроизвольную силу, он громко, чуть ли не грубо, откашлялся и ушел.

Лора поискала глазами Ивонну, девочка сидела в кабине землечерпалки, сквозь испарянный плексиглас бокового окна смутно выступала ее фигурка.

— Пошли? — крикнула Лора, достала из кармана капюшон, натянула на голову и двинулась мимо зем-

лечерпалки к дороге. Ударяясь, подскакивали на лужах редкие дождевые капли. Девочка не трогалась с места.

Через минуту она подбежала, но шла несколько позади. Лора слышала, как она шлепает по лужам. Выйдя со двора, Лора свернула влево, не пошла напрямиком через пшеничное поле. Ивонна взяла ее за руку.

— Почему мы пошли так?

— По траве идти слишком сыро. У меня не такие хорошие сапоги, как у тебя.

Но вот они приблизились к домам, здесь были люди, но все незнакомые. Большинство с зонтами. Молодых людей в этих местах было немного.

— Ты с этим человеком разговаривала? — спросила Ивонна.

— Он задал мне какой-то вопрос.

Они пошли дальше. Лора подняла с тротуара фиолетовый цветок декоративного кустарника. Такой сильный был ветер? А может, какая-нибудь автомобильная антенна сбила его.

— Как зовут того человека?

— Он не сказал.

Лора не могла вспомнить, как называется такая форма цветка. Если он суживается кверху, тогда его не называют «зонтик».

— В следующий раз спросишь?

— Не знаю.

Ивонна высвободила руку и подняла улитку.

— Виноградная улитка, — сказала Лора.

Девочка швырнула улитку на тротуар. Мелкие известковые осколки брызнули во все стороны, медленно растекалась коричневато-серая каша. Лора закрыла глаза. Шагая дальше, она пальцами разглаживала цветок. В нескольких шагах от подъезда дома, где они жили, Ивонна снова взяла мать за руку, хотя знала — этой рукой мать должна открыть дверь.

— Сапожкиними, — сказала Лора.

Гуго в этот вечер собирался прийти поздно. Лора поужинала с девочкой, рассказала ей какую-то историю, не настаивала, чтобы Ивонна, как всегда, искупа-

лась, и разрешила ей поиграть «при свете», когда закроют ставни.

Когда Лора собиралась пожелать Ивонне спокойной ночи, Ивонна сказала:

— Можешь почесать мне спинку?

Лора кивнула; спинка, чуть ли не с ладонь величиной, чутко замерла в своем неведении. Лора хотела поцеловать девочку, но та отстранилась.

— Тот человек тебя тоже почесал, — сказала она.

— Он меня погладил. Спросил, можно ли ему до меня дотронуться.

— Как это?

— Он давно ни до одного человека не дотрагивался.

— У него нет жены?

— Может, была когда-нибудь, не знаю.

— Он тебе это рассказал?

— Нет.

— Хочешь пойти туда опять?

— Пожалуй, не хочу.

— А если я хочу?

— Тогда нам надо подумать.

— Теперь скажи мне «спокойной ночи», — попросила Ивонна.

Но раньше, чем Лора шевельнулась, девочка одним прыжком отскочила в дальний угол кровати. Кровать ходила ходуном.

— Так скачут кролики.

— Точно, — сказала Лора. — Они так скачут.

— Завтра мне, наверно, опять захочется туда, — сказала Ивонна, и на том же дыхании: — А вы купите мне завтра медвежонок?

Медвежонок был дорогой игрушкой из настоящего меха, чудесная вещица, они видели ее в магазине модных товаров, куда зашли в поисках светильника. Гуго настаивал на каком-то итальянском светильнике, но у самого не было времени заниматься поисками. На то у него есть жена с хорошим вкусом.

Лора невольно улыбнулась, ее дочка, однако, меркантильна.

— В тот магазин я не пойду больше, — сказала Лора. — По-моему, глупо покупать вещь только потому, что сейчас мы можем себе это позволить.

— Потому что у нас есть деньги, или... — сказала Ивонна.

— Деньги есть у папы, у меня денег нет.

Девочка посмотрела на нее. Потом вскочила и неуверенно запрыгала по постели, вдруг приложила щеку к деревянным планкам кровати, учащенно дыша сквозь щелки.

— Придется скоро покупать тебе настоящую кровать.

— Тогда мне уже не нужен будет медвежонок.

— Что мне сегодня спеть тебе?

— Ах! — по-взрослому жеманно сказала Ивонна; раскрасневшаяся от прыганья, она стояла на коленках и покачивалась. — Ах, не стоит уж сегодня. Зато в другой раз ты мне непременно споешь.

Улыбнувшись чему-то своему, Лора выключила свет, чтобы дочь не увидела, насколько другой была сейчас ее улыбка.

— Спи сладко, — сказала она, и дочь ответила:

— Ясно.

Спустившись к себе, Лора, не зажигая света, присела на софу. Вечер наступил рано, дождливый день насытился сумраком, тяжелая зелень в саду была живой. Какая-то птица издавала пронзительные звуки, безостановочно от чего-то предостерегала. Кошка, что ли? Итальянских светильников здесь, значит, не будет. И никто не развесит гирлянд из электрических лампочек, которыми они собирались украсить террасу в дни приемов гостей в саду, а может, кто-то другой этим займется...

Неужели уже все так ясно?

Прямо-таки удивительно, до чего четко обозначилось начало.

Ребенок...

Хватит приводить ребенка как отговорку. Занятая мать для Ивонны, во всяком случае, лучше. Занятая? Да, тем, чтобы зарабатывать себе на жизнь.

Зарабатывать себе на жизнь. Она очень рано научилась бояться этого. И так же очень рано научилась обходительности, вытекающей из страха, а обходительность ни к чему более не приводит, кроме как к улыбке «хозяйки дома», в которую превращается на людях домашняя хозяйка.

У нее нет никакого желания ставить пластинку, как ставила всегда, когда днем или вечером оставалась одна.

Темная зелень: это за пять лет так пышно разросся рекомендованный садовником, посаженный и регулярно подстригаемый кустарник. Дрозд или какая-то другая птица все еще зовет на помощь. На подоконнике, в банке из-под варенья, очень прямо стоит цветок, подобранный на тротуаре. Он здесь будто случайно, будто не на своем месте, он — неотъемлемая часть студенческой комнаты, она, Лора, всеми помыслами с ним, с этим цветком.

Но это, однако, не «зонтик», как же все-таки он называется?

Ей очень хотелось узнать, она встала. Рядом со встроеным телевизором на полке стояли книги на тему «Искусство садоводства и красивого обихода». Она тотчас нашла тонкий желтый томик — десять лет не брала его в руки. Это была книга из отцовских. Отец только мечтал о собственном саде, до этого сада, что перед окнами, он не дожил. Она подошла с книжкой в руках к окну и приблизила к свету плотные страницы глянцевиной бумаги. Простой олеандр, красиво цветущая диервилва, сирийский кенаф, кедр гималайский, обыкновенная... Каких только тут нет «обыкновенных» в этих дорогих садах. Ей вспомнился один приятель юности. Он считал олеандр обыкновенным, потому что олеандр стоял в кадках на улицах и с него ежедневно стирали пыль. Или... мыли его?

Бруно? Сын владельца кафе, во всяком случае, предмет всеобщей зависти, дома у него кексы стояли на всех столах, и никто не верил, что ему приходится платить за них... Сассафрас... нет, не то, к сожалению. Зато вот этот, она знала, что он есть в этой книжечке. «Изменчивая бадлея, бадлея, подвиid гамслея, растение это завезено из Китая только несколько десятилетий назад, очень изменчиво в своем цветении, кусты достигают почти трехметровой высоты...» Нет, не это ее интересует... Верхушку венчает густая, пышная метелка... Метелка, не иначе.

Красивое слово. Оно еще шелестит. Бадлея будто бы схожа с травой, высокой травой...

Дальше она прочла, что эти кусты любят теплую

почву, что в суровом климате нуждаются в защите от ветров и что в ботаническом саду в Карлсруэ они уже многие годы великолепно растут, где и «сделан с натуры этот рисунок». «При отцветании в венчике цветка образуется многосеменная двухгнездная коробочка, которая раскрывается щелями в стенке верхних частей гнезд, и при раскрытии семена рассеиваются». Рядом с рисунком некий ребенок карандашом вывел две буквы J E¹ — это, конечно, была она, другому ребенку отец не дал бы эту книгу в руки, и для того, чтобы он дал даже ей, тоже, пожалуй, надо было заболеть. Лора, больная какой-то детской болезнью, лежит в постели с этой книгой о цветах, листает ее для забавы, в которой нет нужды, ведь больного ребенка и без того все балуют... Так это началось, так многое началось, но продолжаться не должно... В этой книге, пользуясь положением больной, она начертила на запрещенном месте две буквы. Давящая боль в глазах сообщала уверенность, что у тебя жар, и тогда тебе все дозволено. Теперь ничего этого нет и надо перестать жалеть себя, она обязана... перестать. Потом ребенка еще три дня без температуры не выпускали на улицу. Мать неуклонно следовала этому правилу, болезнь ребенка воспринималась ею в какой-то мере как наказание, надо было только держать ухо востро и не выдать себя — болезни-то никакой не было... Мать... В сущности, она хотела только одного — не быть ни в чем виноватой, когда что-то случалось, она ни в коем случае не хотела нести ответственность, в этом и заключалась ее любовь. Другой она не знала — не разрешала себе. Ее главной заботой было доставить этому самому Гуго, с его очень хорошей семьей, жену под стать. В этом браке мать усматривала для себя экзамен в надлежащем воспитании, данном дочери. Лоре предстояло быть живым доказательством заслуг матери. У каждого человека есть своя гордость, нет нужды быть богатым, чтобы все делать как полагается. Мать еще дожила до рождения Ивонны. Стыдиться за Лору ей не пришлось. С таким сознанием можно умереть спокойно.

Изменчивая бадлея... И как только язык повернулся

¹ Очевидно, начальные буквы J — Job (англ.) — занятие, работа и E — Eleonore, сокращенно — Lore, Лора.

так назвать растение? Может, она названа по какому-то господину Бадю или Бадлею? Так же как гербера, например, по господину Герберу. Такой цветок только и мог открыть какой-нибудь господин Гербер — лучше-го гербера не заслуживает. Книга выпала у нее из рук, она подняла ее, погладила с обеих сторон и поставила в ряд с остальными.

Потом села на софу и выпрямилась, словно готовясь к разговору. Обе руки, ладошь к ладони, зажала между колен, ощутила теплоту рук. У нее нет уверенности, что Гуго смирится с переменой. Она не хотела причинить ему боль. Но не в этом дело. Дело в слове, которое она дала этим браком и не могла сдержать, ибо дала его не только Гуго. Напоминание шло от сада, от тепла рук. От ребенка, которым она никогда не была. От ребенка, который спал там, наверху.

Разве речь о том, чтобы оставить Гуго? Речь о том, чтобы сказать Гуго: она не всегда может твердо положиться на самое себя. Это «самое» умерло, это «самое» — на чем столько лет и с такими усилиями все строилось, все ж таки очень зыбко. Рука того человека ничего не нашла, да там ничего и не было, что испугалось бы и оцепенело. Было только удивление отсутствию этого; но такое удивление почти смертельно. Она пришла с ним в дом, сидела с ним здесь, на софе. Это терпимо, оно живое. Странная, скудная обстановка, ее не следует путать с мягким гарнитуром, который она сама и выбирала. Но в этих вещах ее больше не было, она была только на том месте, где была. Только и возможно, что сидеть тут тихо, без музыки, переплетая пальцы рук. Это была работа, первая работа Лоры. Она была ей рада. Для начала, быть может, стоит переселиться в одну комнату с Ивоной, для начала, во всяком случае...

ОБЕД В ЮТИКЕ

*Бертольд Хенелю
и читателям Лёрраха*

«Какая радость! Как приятно!» — доносится с верхнего этажа знакомый хриплый голос, ну конечно же, это американский дядюшка, который, не скрывая своих чувств, торопливо спускается по лестнице, что для него совсем непросто: прежде чем опуститься ступенькой ниже, он подтягивает одну ногу к другой. Петер спрятался под лестницей, и сверху его не видно; «Вам следует пока побыть здесь», — велела ему молодая женщина перед тем, как подняться наверх, чтобы подготовить дядюшку к появлению гостя: если дядюшка увидит Петера прямо в конце лестницы, он может заспешить, оступиться и покалечиться или вовсе не сойти вниз; кто знает, что ему придет в голову.

Сидя под лестницей на табуретке, Петер делает над собой усилие, чтобы не реагировать на это равномерно раздающееся «Какая радость! Как приятно!» и до конца дослушать скрип расшатанных ступенек, по которым спускается кто-то большой и грузный. Он видит, как по перилам рывками съезжает неуклюжая мужская рука: перехватывая поручень, она дрожит; а следом за нею по дереву легко скользит желтоватая рука молодой женщины. «Какая радость. Как приятно!» — слышит Петер уже почти у самого уха; теперь, пожалуй, можно и встать. Расправив плечи и приготовив улыбочку, он выходит к лестнице и смотрит наверх, в усохшее лицо своего американского дядюшки, который с застывшим, ничего не выражающим взглядом все ближе и ближе идет к нему навстречу.

Петер кивает, отступает чуть назад и протягивает дядюшке руку. Дядюшка хватает ее и энергично трясет, но не опирается на нее. Однако, пока он еще на сту-

пеньках, ему нужна прочная опора, поэтому Петер вновь отходит в сторону, отметив про себя некоторую осторожность, с какой дядюшка высвободил руку, и дает ему спокойно добраться донизу. Даже такой ссутулившийся, дядюшка все равно выглядит великаном. Так они и стоят друг против друга с беспомощным видом, пока между ними не протискивается женщина, чтобы создать в этой гостиной (в самом доме довольно мало свободных помещений) подходящую обстановку для свидания дяди и племянника. Но свидание как таковое уже состоялось, они ведь уже обменялись рукопожатием, поэтому им только и остается что стоять рядом, и дядюшка, кажется, пытается заглянуть через плечо Петера, нет ли там еще одного гостя, того самого, кого он и впрямь рассчитывал увидеть.

— Это же Петер, — говорит женщина. — Петер! Петер прибыл сюда из самой Швейцарии! Ну что же вы?

— Да-да-да, конечно, конечно, — говорит дядюшка и, глядя мимо Петера, даже приподнимается на цыпочках. — Какая радость, очень приятно. Весьма признателен.

— Я здесь по служебным делам, — говорит Петер. — Почему бы, думаю, не навестить...

Но дядюшка его не слушает. Он начал шептаться с женщиной.

— Да, да, — громко произносит она, — какие пустяки, стоит ли об этом говорить. Вас ведь не смущает, что он небрит, верно?

— Ах, о чем речь! — говорит Петер. — Так чувствуешь себя даже более непринужденно.

— Петер хотел бы покататься с вами на машине, — говорит женщина. — Как вы насчет того, чтобы съездить в Ютику?

— А я там когда-нибудь бывал? — спрашивает дядюшка. — Нет, я там еще никогда не бывал, — отвечает он сам себе. — Сдается мне, там я еще никогда не бывал.

— Да что ты, дядюшка, ты же бывал там тысячу раз! — кричит Петер. — Ютика! В Ютике всегда находилась твоя контора.

Дядюшка снова пашептывает что-то на ухо женщине.

— Да нет же, нет! — возражает она решительно.

Повернувшись к Петеру, дядюшка бросает на него испытующий взгляд; выражение глаз — то же, что и много лет назад, разве что теперь сами глаза стали более выпуклыми, а может быть, водянистыми и чуть слезящимися; затем этот необъяснимо твердый взгляд вновь наполняется безразличием и холодом.

— Oui, — говорит дядюшка, — on fait des voyages maintenant. Beaucoup. Pas mal de voyages. A Paris, ah oui. Les gens font des voyages maintenant¹.

— Вы можете говорить с Петером и по-немецки, меня это несколько не стеснит, — говорит женщина. Голос у нее бесцветно доброжелательный, пожалуй, юной ее уже не назовешь, сильно напудренное лицо кажется мучнисто-белым, а по седовато-русым волосам вообще не поймешь, сколько ей лет.

— Ah oui, oui², — говорит дядюшка, и его французский выговор становится еще более старательным, словно он на экзамене; одно за другим он выпаливает названия нескольких французских городов, сопровождая каждое из них коротким, горделивым покашливанием.

— Отец просил передать тебе привет, — говорит Петер.

— Очень любезно с вашей стороны, — говорит американский дядюшка, — весьма тронут вашим вниманием.

Петер делает еще один заход.

— От Эриха, тебе привет от Эриха, — говорит он.

— О! — говорит дядюшка, и по его губам пробегают обходительная улыбка, свойственная людям, прошедшим школу хороших манер. — Эрих! — произносит он на английский лад: никак не переключится с английского на немецкий. — Вы с ним знакомы?

— Мистер Шелленбергер! — укоризненно говорит женщина. — Эрих — это же отец Петера.

— Так вы, оказывается, знакомы и с Петером? — прищурившись, спрашивает американский дядюшка.

¹ Да, теперь люди любят путешествовать. И очень много. Все время путешествуют. В Париж любят ездить. Люди теперь все время ездят (франц.).

² Ах да, да (франц.).

— Вот что, мистер Шелленбергер, поедemте сейчас в Ютику и хорошенько там закусим, — говорит женщина. — Там-то вы и поговорите вволю с вашим племянником.

— В Ютике я еще не бывал, определенно не бывал, — говорит дядюшка снова очень любезным тоном. — Из-за меня вы потеряли уйму времени. Прошу простить. — Сзади он проводит рукой по брюкам. — Их можно снова постирать. Теперь я припоминаю.

— Здесь не то, что в Файр-Лодже, — говорит женщина, — правда, мистер Шелленбергер? У нас тут и большой сад, и ванна, и своя отдельная комната, и телевизор. Разве можно сравнить Чироки-Мэйноу с Файр-Лоджем?

Петер берет дядюшку под руку с другого бока, и все трое направляются к площадке перед домом, посыпанной гравием и обсаженной кленами: розовые, желтые и оранжевые вспышки кленовых листьев — словно размазанный пинтерьер магазина в весеннюю распродажу.

— Ты уже видел что-нибудь по телевизору, дядя? — спрашивает Петер; на ходу разговор идет как-то легче, кажется не таким многозначительным. Но дядюшка как на грех останавливается.

— Кого? — переспрашивает он. — Нет, мы с ним видимся не часто, решительно не часто. Очень даже редко.

Двинувшись дальше, он берет Петера за руку и коротко пожимает ее.

На воздухе дядюшка идет, еще больше наклонившись вперед, осторожными размеренными шагами, словно боится поскользнуться, но его спутники делают вид, что ничего не замечают.

— Он не всегда понимает, что ему говорят, — сообщает женщина. — Но через какое-то время общий смысл до него доходит. Нужно только быть терпеливым.

— Я хотел спросить, — говорит Петер, на сей раз останавливается он сам и начинает рыть носком ботинка гравий, — видел ли ты вчера фильм по телевизору?

— Я с ним не вижу, вообще не вижу, — отвечает дядюшка. — Впрочем, — он снова останавливается и поворачивается к женщине, — разве там никого

не было? По-моему, там было довольно много народу. — И полуобернувшись к Петеру: — Совершенно верно, там были какие-то люди, теперь я припоминаю.

— Мы все его здесь очень любим, — говорит женщина. — В нем чувствуется настоящий джентльмен.

— Было дело, — говорит дядюшка, слабо подмигнув.

Они уже дошли до машины Петера, которую он взял напрокат, но прежде чем предложить дядюшке сесть в машину, Петер дает ему договорить фразу до конца. Дядюшка распахивает перед женщиной заднюю дверцу, но, когда та велит ему сесть первым, он поспешно повинуется, ушибив при этом сперва плечо, потом голову.

— *Pas de quoi, mademoiselle*, — говорит он. — *C'est comme toujours. Vous me connaissez*¹.

Пока машина катит к Ютике (Петер за рулем, его спутники на заднем сиденье), дядюшка беспрестанно о чем-то шепчется с женщиной. Очевидно, он думает, что его хотят похитить или что Петер — еще одно медицинское светило, которое ждет от своего пациента чего-то заведомо неосуществимого.

Сейчас Петеру легче справиться с собой, то есть не засматриваться на яркие линии деревьев, и следить за дорогой более внимательно, чем когда он ехал сюда. Однако он ведет машину очень медленно, позволяя обогнать себя кому угодно, и держит руль, как ему самому кажется, с парочитой небрежностью.

В Ютике они проезжают мимо конторы, где работал дядюшка. Это дом из красного кирпича, выстроенный в повоанглийском стиле; солнце уже ушло из нижних этажей, белые рамы светятся будто ночью. Здесь прошло сорок лет его жизни, но дядюшка совершенно безучастен.

— Помнишь, дядя, я на твоей машине совершил первое свое путешествие после войны. Ты привез ее с собой в Европу. «Студебеккер».

Несмотря на плотный поток машин, Петер оборачивается к дядюшке. Тот беззвучно смеется, словно остроумной шутке.

¹ Не за что, мадемуазель. Это естественно. Вы же меня знаете (*франц.*).

— Да, «студебеккер», — говорит он. — Очень любезно с вашей стороны.

Ресторан, где женщина по просьбе Петра заказала столик, отнюдь не из фешенебельных и почти безлюден, лишь динамики доносят сюда нечто напоминающее о жизни. Собственно, это всего-навсего кафе при кинотеатре, туалет которого был бы сейчас дядюшке, как он сообщил на ухо женщине, очень кстати. Обменявшись знаками с женщиной, Петер отправляется с дядюшкой на поиски туалета, через кассы кинотеатра. Петер петляет по бесчисленным коридорам всего этого необозримого сооружения, но дядюшка следует за ним с вполне добродушным видом. Наконец выясняется, что в туалет можно попасть только через зрительный зал. Позади полусовершенно рядов дядюшка вдруг останавливается и говорит:

— Тут я еще никогда не бывал. Точно нет. Но здесь приятно.

А когда Петер кивает, дядюшка кладет ему руку на плечо.

— Вы прибыли из Швейцарии, *bien sûr?*¹ — спрашивает он. — *Mais oui, mais oui*². Здесь не то, что в Швейцарии. Все немного другое. Вы со мной не согласны?

Петер оборачивается.

— Скажи, дядя, ты хотел бы снова в Швейцарию?

— О, Швейцария! — произносит дядюшка впервые за все время на настоящем швейцарском диалекте. — *La Suisse*³. Мне доводилось бывать и там.

— Да, доводилось, — подхватывает Петер, — даже тогда, когда я уже был на свете. Ты ведь вырос там. В Эльгге.

— Эльгг! — смеется дядюшка. Кажется, он разглядывает занавес, сквозь щелочку которого виден белый холст экрана.

— Ну и долго же нам было идти до школы, — говорит он. — Особенно зимой. Для маленьких дорога была слишком долгой. Слишком.

— Один человек просил передать тебе привет. Эрих, мой отец. Твой брат.

¹ Не так ли? (франц.)

² Ну да, конечно (франц.).

³ Швейцария (франц.).

— А Эрих, как же, как же! — говорит дядюшка. — Вы с ним знакомы?

— Я ведь тоже живу в Винтертуре, — говорит Петер после некоторой паузы.

— Винтертур! Вы знаете этот город?

— Ну положим, не так хорошо, как ты, дядя, ты ведь там учился в техникуме.

— Все-то вы знаете, — говорит дядюшка. — Стало быть, и это вы знаете. Очень любезно с вашей стороны, что вы обо всем этом заботитесь.

— Пошли, — говорит Петер. — Девушка, наверно, уже дождалась нас.

Когда он берет старика под руку, тот почти с готовностью подставляет ему свой локоть; он даже как-то прижимается, думает Петер.

— Смотри, вон где туалет, — говорит Петер, — я обожду здесь.

Он видит, как дядюшка тщательно закрывает за собой дверь туалета, хотя она и сама закрывается на пружинах. В ту пору раз в три месяца дядюшка неизменно присылал из Америки чек; поменяв его на деньги, семья Петера — мать умерла, когда тому было семь лет, — получала фантастическую сумму. Трехзначное число, которое к тому же надо было помножить почти на пять! А впервые после войны приехав в Швейцарию, этот дядюшка купил Петеру настоящие ручные часы и поразил его своим американским акцентом. После каждого приезда дядюшки Петер некоторое время нарочно говорил гнусавым голосом, будто американец, над чем потешались его одноклассники. И все-таки он продолжал свое чудачество недели две-три; это делало разлуку со всемогущим заокеанским дядюшкой менее ощутимой.

Вот он снова показался из дверей туалета и озирается по сторонам.

— А вот вы где, — говорит он, когда Петер идет к нему навстречу.

— Дядя, ты не застегнул ширинку, — говорит Петер.

Дядюшка чуть дернул головой и смотрит на Петера с таким видом, словно произошло нечто очень смешное. Но при этом его пальцы судорожно застегивают пуговицы на брюках, однако ничего не получается; тогда

дядюшка поворачивается к Петеру боком и, немного согнувшись, поспешно застегивается.

Возвращаясь через зрительный зал, дядюшка снова заговорил по-английски:

— К сожалению, случается и такое. — Он ощупывает свой пиджак. — Как вы его находите? Сидит очень даже солидно. И весьма прочный, — говорит он и трет лацкан между пальцами. Его лицо светится робким счастьем. — Я так рад, — говорит дядюшка. — Взгляните, какие у меня карманы. — Он распахивает пиджак. — Вон их сколько: и здесь, и здесь, и здесь, — говорит он.

— Пойдем, прошу тебя, — говорит Петер.

— Ничего страшного, правда? — доверчиво спрашивает дядюшка.

— Ничего страшного, дядя, — отвечает Петер. — Скажи, ты хоть немного голоден?

— Голоден? — переспрашивает дядюшка и останавливается. — Немного голоден? Покорнейше благодарю.

Знать бы, что ресторан будет пуст, можно было бы и не заказывать столик. Женщина подводит губы. Когда Петер с дядюшкой садятся за стол, она продолжает свое занятие. Кивком она указывает на меню, лежащее перед ней.

— Ему что-нибудь легкое, — говорит она, еле шевеля густо накрашенными губами. — Пожалуй, антрекот. — И прячет свои инструменты, щелкнув замком сумочки.

— Я как на грех без очков, — говорит дядюшка и берет меню, даже не глядя на него.

— Да, очки ему можно вернуть, — говорит женщина.

— Здесь указано мясо с корицей, — говорит Петер, пробежав глазами меню.

— Ему нельзя, — отвечает женщина.

— Чего бы тебе хотелось, дядя? — спрашивает Петер. — Выбери себе что-нибудь по вкусу, не стесняйся.

— Чего бы мне хотелось? — спрашивает дядюшка, покосившись на женщину. — А что мне должно хотеться?

— Наверняка вы не откажетесь от хорошо прожаренного антрекота, — говорит она.

К столу подходит официантка; сперва она смотрит на дядюшку, который ерзает на стуле, что вызывает у нее особенно приветливую улыбку.

— Советую попробовать запеченную рыбу, — говорит она.

— Наверно, она у вас слишком жирная, — говорит женщина. — Ему принесите антрекот, но только прожарьте как следует.

Петер смотрит на дядюшку, но тот молчит. За компанию он тоже заказывает себе антрекот; женщина долго изучает меню, потом все же берет рыбу, себе.

После того как она отпустила официантку, за столом воцаряется молчание, из-за которого дядюшка начинает нервничать; он без конца теребит свой пиджак.

— У вас превосходный костюм, мистер Шелленбергер, — говорит женщина. — Он вас молодит лет на двадцать. — И потом Петеру, тем же тоном: — Ему не верится, что у него снова есть костюм, ручка и часы. В Файр-Лодже у него только и было, что больничная пижама. Это надо понимать.

Дядюшка снимает часы и кладет их на стол.

— Можем мы еще посидеть тут или у нас больше не осталось времени? — спрашивает он женщину.

— О, сколько угодно! — говорит Петер. — Мы сегодня целый день будем делать как раз то, что тебе нравится, дядя.

Дядюшка смотрит на Петера, робко кивает, затем переводит взгляд на свою спутницу и спрашивает ее тоном человека, который некогда вращался в свете:

— Что прикажете считать моими любимыми занятиями? Здесь я еще ни разу не бывал. Или бывал?

— Ну конечно же, вы здесь бывали, — говорит женщина, — и конечно же, вы знаете здесь каждое дерево, каждый дом. — Изобразив на лице улыбку, она многозначительно смотрит на Петера. — Потому-то ваш племянник и пригласил вас сюда, думал доставить вам радость.

Дядюшка уставился на свои часы; затем он снова надевает их на руку, поправляет манжету и быстро озирается.

— Ты мне подарил часы, сразу после войны, в твой первый приезд к нам, — говорит Петер. — Ты еще не забыл? Это были часы с таким черным циферблатом.

Их делали по заказу немецких ВВС. Но когда война кончилась, эти часы стали продавать в Швейцарии. А я все равно считал их часами для летчиков. И очень гордился этим. Они продержались у меня целых пятнадцать лет. Теперь они уже не ходят, но я по-прежнему их храню.

— Так-так, — говорит дядюшка, — очень любезно с вашей стороны.

— Дома у нас все в порядке, и все просили передать тебе привет, в том числе и моя жена, и, естественно, твой брат Эрих. Они очень надеются, что ты еще когда-нибудь выберешься в Швейцарию.

— Швейцария — неповторимая страна, — говорит дядюшка.

Официантка приносит кофе; женщина наливает дядюшке и подает ему молоко и сахар, столько, сколько ему положено.

— То, что Алиса умерла, ты, конечно, знаешь, — говорит Петер. — Эрих писал тебе об этом.

— Это только разговоры, — говорит дядюшка. — Алиса не умерла, она себя убила.

Глядя поверх чашки, Петер забывает отпить и на секунду перехватывает элорадный взгляд дядюшки, который мгновенно тушует. Дядюшка снова извлекает из-под манжеты свои часы. Петер делает глоток.

— А помнишь, дядя, когда-то ты собирался стать хирургом?

— Все-то вы знаете, — сухо отвечает дядюшка, — и откуда только вы это знаете. Вы знаете все на свете, не так ли? А дома мы едва лишь сводили концы с концами. Мать — другое дело. Но отец... Отец хотел, чтобы мы сразу отдавали все деньги в дом. Потому-то...

Дядюшка пожевал губами.

— Да, вам было нелегко, — говорит Петер, — потому-то вы и ушли из дому, Алиса и ты, один отец остался.

— Отец был невезучий человек, — говорит дядюшка. — Он не сделал для нас в жизни ничего хорошего.

Петер не уточняет, что имел в виду своего отца, Эриха, поскольку для дядюшки существует только один отец.

— Все вы действительно очень преуспели в жизни, — громко говорит Петер и ободрительно кивает дя-

дюшке. — Я всегда гордился тем, что у меня в Америке есть дядя, на визитной карточке которого написано «главный менеджер». Мне кажется, из-за этого я и выучил английский. Если бы не ты, я бы вообще не смог учиться.

— Дорога до школы была слишком долгой, — говорит дядюшка, — слишком долгой для детей. Отцу следовало об этом подумать. Ведь какая была мука идти по той дороге. Но отец мало заботился о нас. Вот жизнь ему и отомстила.

Теперь на стол подают еду, и разговор на мгновение прерывается. Глядя на тарелку с антрекотом, дядюшка говорит:

— Выглядит недурно. Очень даже недурно. — Дядюшка ждет, пока жепщине принесут рыбу, только тогда он берется за нож и вилку. Затем он снова кладет их обратно. — Это тоже выглядит очень недурно, — говорит он, нагнувшись над тарелкой с рыбой, и далее без всякого перехода, глядя себе на колени: — Боюсь, салфетка будет маловата. Может быть, мне принесут салфетку побольше?

— Вы уж как-нибудь постарайтесь кушать аккуратно, мистер Шелленбергер, — говорит жепщина. — Теперь-то вы в состоянии соразмерить свои действия. Хотите, я нарежу вам мясо?

Дядюшка уже не слушает. С помощью ножа и вилки он принялся осторожно пилить свой антрекот на крошечные кусочки. Непонятно, то ли мясо такое жесткое, то ли нож тупой, то ли дядюшка боится сделать неловкое движение. Каждый из этих кусочков он отправляет себе в рот почти у самой тарелки и глотает так незаметно, будто мясо краденое. Именно этот дядюшка пригласил Петера на первый в его жизни изысканный обед, где среди прочего была и закуска из дичи, которую Петер взял с тележки после того, как дядя, толковее, чем любой егерь, объяснил ему тонкости тех или иных блюд; зачастую настоящим обедением оказывались как раз те яства, про которые Петер ни за что на свете не мог бы подумать, что они так вкусны. Это знал лишь дядюшка. В жизни он смыслил многое. А перед той закуской из дичи Петер выпил рюмочку «Пимс № 1», свой первый алкогольный папиток. Это было в ресторане при аэродроме, там

были разные иностранные продукты. Тогда, еще в Дюбендорфе. И вот теперь он платит дядюшке ответным радушием — пригласил его на жесткий антрекот.

Дядюшка показывает вилкой на свой антрекот:

— Дивное мясо, дивное!

— Такой едой у нас кормят не каждый день, верно, мистер Шелленбергер? — говорит женщина своим бесцветным голосом, дожидывая остатки рыбы.

— Это намного вкуснее, чем то, — неопределенно подтверждает дядюшка. Но потом на его лице отражается нечто вроде стыда, и он нагибается к женщине. — Я хотел сказать, это очень вкусно, но и то не менее вкусно.

— Дело еще в том, что мы не ошиблись в выборе ресторана, — говорит она. — Не понимаю людей, которые выбрасывают деньги на дурацкий люкс, тогда как в обычном ресторане чувствуешь себя как дома.

«Дрянная забегаловка — вот это что, — думает про себя Петер, — хлев с линолеумом».

Дядюшка чуть отодвигает от себя тарелку, мясо в ней слегка обрезано по краям, исчезло несколько ломтиков жареного картофеля, а к салату он и вовсе не прикоснулся.

— И я того же мнения, — говорит дядюшка.

Петер пытается глотнуть, но мясо комом стоит у него во рту. С трудом и отвращением он все же заставляет себя проглотить его, чтобы можно было продолжать разговор.

— Здесь делают изумительные пирожные, дядя, — говорит он, — я видел своими глазами. На тележке, при входе. Сорт, наверно, десять.

— Вот уж действительно самое необходимое для него, — смеется женщина. — Ну да ладно, по такому случаю можно сделать исключение. Он никогда не ест *сверх* меры. Даже у нас.

Петер подзывает официанта с тележкой, на которой выставлены различные сладости. Дядюшка получает кусок фруктового торта с двойной порцией взбитых сливок, светло-зеленое мятное желе и два куса слоеного пирога. Теперь он ест очень торопливо и так низко над тарелкой, будто лакает. В какой-то момент Петеру показалось, что в тарелку упала кашля, может

быть, слюна. В какой-то момент дядюшка отрывается от тарелки и произносит набитым ртом:

— Здесь я еще не бывал. Определенно нет. Что-то не могу припомнить это место. Разве были тогда здесь люди? Эти люди? — спрашивает он женщину.

— Кушайте и не отвлекайтесь, — говорит она и давит ложечкой мороженое. — Кушайте спокойно.

Дядюшка распрямляется; его тарелка пуста. Он снова нагибается над столом, чтобы собрать вилкой несколько крошек. Но они все время проваливаются между зубцами. Тогда он собирает их на влажный палец.

— Как хорошо, что у тебя в Чироки-Мэйноу такой прекрасный сад, — говорит Петер.

Прежде дядюшкин дом окружал ухоженный сад; он выглядел довольно красочно на первых цветных снимках, которые доводилось видеть Петеру, да и сам дядюшка любил рассказывать о нем, приезжая погостить. Когда его жена еще была жива, он проводил там все свободное время.

— Ты, конечно, часто помогаешь по саду, дядя, в Чироки-Мэйноу, — говорит Петер.

— Как? — спрашивает дядюшка, бросив на Петера короткий и пристальный взгляд. — Разве я этим занимаюсь? Нет, я этим не занимаюсь. Что вы на это скажете? — спрашивает он женщину.

— Ну почему же, иногда он помогает господину Биби сгребать листву и полоть, но главное, что он видит зелень, — говорит она.

Дядюшка, казалось, хотел что-то вставить, но, видно, не решился и поджал губы.

— Может, и ты хочешь мороженое? — спрашивает Петер. — Тебе надо набираться сил.

Дядюшка смерил его неприязненным взглядом.

— Да-да, — говорит он. — Мороженое, — и продолжает неожиданно очень любезным голосом: — День прошел как нельзя лучше.

— Поедемте домой, — говорит дядюшка, — здесь очень приятно, не так ли?

Петер просит подать счет, их обед оказался дешевым; он расплачивается в кассе; рядом в кинотеатре появились первые зрители. Дядюшка подает женщине плащ. Сам он, как и прежде, плащей не носит.

— У тебя раньше был «студебеккер», дядя, — говорит Петер, открыв своим спутникам дверцу машины.

— Эх-хе, — говорит дядюшка, — угу.

Он откашливается. На сей раз он ни за что не задевает.

Обратно они едут другой дорогой, которую женщина описала как нечто очаровательное: через убранные кукурузные поля, мимо вялых подсолнухов, сквозь стебли которых проступает сверкающее озеро, и через поселки, застроенные белыми деревянными домами с одинаковыми фасадами. Солнце еще можно принять за красную луну, деревья с осенней листвой кажутся в отсветах зеленоватого неба фонарями, зажженными в ранние сумерки. В углу на заднем сиденье дремлет дядюшка, жаль, что он не наслаждается этой красотой. На каждом перекрестке женщина шепотом указывает Петеру дорогу — к новым очаровательным пейзажам. В буйных, никогда не кошенных зарослях вдоль обочины шоссе запекшейся кровью цветут сумахи; ландшафт для индейцев.

— Он чувствует себя лучше, — говорит женщина. — Видели бы вы его три недели назад, когда он поступил к нам.

Наконец шипы зашуршали по знакомой гравийной площадке; дядюшка проснулся. Это заметно по тому, как бесшумно он стал дышать, но сидит он все равно очень тихо.

— Ну вот и приехали, — говорит Петер и помогает своим спутникам выбраться из машины.

Женщина обращается к дядюшке:

— Сейчас вы сможете отдохнуть как следует.

Они стоят у входа в дом, перед колоннами с дорическими капителями. Петер протягивает женщине руку. Затем он вручает дядюшке подарок — перевязанный пакет; печенье из родной Швейцарии.

— Это ему можно, — говорит женщина.

Дядюшка смотрит себе на руки, которые держат пакет. Женщина забирает у него этот сверток.

— Каждый вечер мы будем брать отсюда по одной штучке, — говорит она. — Продлим себе удовольствие. Разве не стоит? Большое спасибо, скажите Петеру: «большое спасибо». Мы провели сегодня такой чудес-

ный день. Из какой только дали приехал Петер, чтобы повидать вас.

Петер кладет руку дядюшке на плечо; затем он чувствует, что тот сам притягивает его. Щетинистая щека дядюшки прижимается к его щеке. Дядюшка сжимает плечо Петера и крепко целует его в обе щеки. На мгновение Петер задерживает дядюшку в своих объятиях. Но потом он остается один, а женщина ведет дядюшку к двери, хотя он мог бы пойти и сам. Сначала женщина открывает первую дверь, затянутую москитной сеткой, затем дверь массивную, входную, и оборачивается, чтобы еще раз помахать Петеру. А американский дядюшка покорно уходит, немного втянув голову в плечи, будто все еще под конвоем; он идет в дом, собственно, всего-навсего в одно из человеческих пристанищ под чересчур большим небом.

Содержание

<i>М. Рудницкий. Предисловие</i>	3
<i>Кольцо. Перевод В. Седельника</i>	11
<i>Поездка в Швейцарию. Перевод Г. Косарик</i>	24
<i>Никаких девочек. Перевод Г. Косарик</i>	43
<i>Неверный прокурисг. Перевод Г. Косарик</i>	65
<i>Синий музыкант. Перевод Г. Косарик</i>	76
<i>Playmate. Перевод Ю. Гинзбурга</i>	93
<i>Расплата. Перевод Г. Косарик</i>	108
<i>Ацуко пора замуж. Перевод Е. Дмитриевой</i>	128
<i>Гиндукуш. Перевод И. Татариновой</i>	145
<i>Дальние знакомые. Перевод И. Горкиной</i>	163
<i>Для начала, во всяком случае... Перевод И. Горкиной</i>	174
<i>Обед в Ютике. Перевод Ю. Гинзбурга</i>	189



Мушг, Адольф. Поездка в Швейцарию и другие рассказы.

В книгу видного швейцарского писателя вошли рассказы, написанные в 60-е и 70-е годы. Сегодняшняя Швейцария, ее жизнь, нравы, быт, люди показаны Мушгом с большой художественной силой, достоверностью и тонким психологизмом. Сквозь правдиво изображенное своеобразие швейцарской действительности проглядывают наиболее острые проблемы и противоречия, актуальные не только для Швейцарии, но и для всего западного буржуазного общества.

АДОЛЬФ МУШГ

Поездка в Швейцарию и другие рассказы

Составитель Владимир Денисович Седельник

ИБ № 3540

Художник *А. А. Ильинский*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технический редактор *Л. Д. Безрукова*
Корректор *Р. Х. Пунга*

Сдано в набор 26.4.78. Подписано к печати 06.10.78. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага типографская № 2. Условн. печ. л. 10,92. Уч.-изд. л. 10,15.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 559. Цена 1 руб. Изд. № 24898

Издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР
по делам издательства, полиграфии и книжной торговли
Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17

Владимирская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном
комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7



Цена 1 руб.



